МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ЕВДОКИМОВА

2015 – Год литературы в Российской Федерации

Зубы

СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ НА ТЕМУ СТОМАТОЛОГИИ

Зубы

2015 — ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зубы

СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
НА ТЕМУ СТОМАТОЛОГИИ

Москва
2015

П22 ББК 84(2=411.2)64-44
УДК 821.161.1-32

Введение

Сборник литературных произведений русских
и зарубежных авторов на тему стоматологии.
Зубы. — Составители: Янушевич О.О., Пашков К.А., Бергер Е.Е.,
Туторская М.С. — 224с., 26 ил.
М. - 2014

©МГМСУ

ISBN 978-5-9903991-4-3

Уважаемые друзья!

Вы держите в руках новый проект Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, объединивший в себе лучшие литературные произведения отечественных и зарубежных авторов, связанные с человеческими зубами.

Зубная боль и избавление от нее не редко становились в центре внимания творческих людей. Многие мировые картинные галереи хранят полотна со сценами зубоврачевания. Так, голландский живописец Золотого века Ян Викторс посвятил теме зубоврачевания цикл работ. Наиболее известная из них — «Дантист с посетителями», есть также «Зубодер», «Брадобрей», «Рыночная сцена». Другой голландец, Ян Стен, оставил нам «Врача-шарлатана». Удивительные сцены из прошлого открываются с картин Геррита ван Хорнхорста, Герарда Доу, Оноре Домье, Эдуарда Вюйяра, Альберта Гильома. Русский след в этом необычном направлении живописи оставили Сергей Архипов и Василий Мешков. Наша отрасль медицины нашла отражение и в скульптуре, и в небольших, но интересных поделках, которые повествуют о теориях зубной боли, методах лечения, как, например, трехдюймовая копия коренного зуба из слоновой кости, выставленная в Музее истории медицины Германии в Ингольштадте.

Небольшой лептой в продолжение темы могут стать зарисовки Олега Юдина и Елизаветы Вединой, которые иллюстрируют издания по истории медицины нашего Университета и эту книгу.

Мы любим свое дело и поэтому не можем не восхищаться теми, кто фактически увековечил труд наших праотцев в стоматологии. Когда мы начали реализовывать идею сборника, мы поняли, что это только часть громадного наследия, оставленного нам и нашим современникам. Многие из представленных в книге произведений являются, на наш взгляд, шедеврами мировой художественной литературы.

Желаю вам интересного чтения и понимания того, что стоматология сегодня уже совсем не та, что была даже десять лет назад. Нет ни боли, ни страданий. А из прошлого в ней осталось уважение к больному, гуманизм и неизменная любовь к профессии.

О.О. Янушевич,
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Заслуженный врач России, профессор.

Гуманитарные науки в истории медицины и стоматологии

Сейчас для многих очевидна необходимость курса гуманитарных наук в медицинском образовании. Из них особое место занимает история медицины, которая традиционно преподается будущим медикам. Наряду с ней студенты изучают биоэтику, а также более узкие аспекты истории специальности: историю фармации, историю кардиологии или хирургии, историю стоматологии и т.п. Задачи этих курсов — ознакомление учащихся с важнейшими вехами развития медицины и обучение их работе с источниками. Программа дисциплины варьируется в зависимости от будущей специальности медиков, курса, на котором они изучают предмет, и других факторов. Источниками являются медицинские трактаты, рецепты, а также памятники народной медицины - травники и заговоры.

История стоматологии, как и история медицины, не ограничивается знакомством с именами великих врачей и открытиями, позволившими достичь современного уровня развития медицинской науки. Ее неотъемлемой частью является история культуры, изменения в которой влияют на стремление пациентов обращаться за медицинской помощью, их отношение к врачам, боли и профилактике болезней.

Задача данного издания - расширить круг источников, используемых историками медицины, применительно к специальности “стоматология”. Зубная боль и зубные врачи часто описывались в художественной литературе.

Читая старые рассказы, отчетливо видишь, как изменилась стоматология, которая в настоящее время перестала ассоциироваться с невыносимой болью (“Хирургия” А.П.Чехова). К зубной боли всегда было особое отношение. Не случайно

составители нашли нужным включать в антологию примеры заговоров от зубной боли. Интересно, что они оставались востребованными и в значительно более поздний период (рассказ “Лошадиная фамилия”, “Записки зубовладельца” В. Шефнера).

Кроме того, художественные произведения могут помочь лечащим врачам. Чтение рассказов, посвященных зубной боли или переживаниям людей, теряющих или потерявших зубы, помогает врачу лучше понять своих пациентов. Эти произведения развивают эмпатию и помогают предотвратить профессиональное выгорание.

Способность к эмпатии — профессионально необходимое качество для всех специалистов, работа которых непосредственно связана с людьми. Она помогает врачу говорить с пациентом на понятном ему языке. Эмпатическое или активное слушание — прием, который используется при сборе анамнеза и разговоре с пациентом.

Никакой учебник патологии не дает студентам-медикам, большинство из которых молоды и здоровы, понимания и ощущения того, что значит быть слабым и больным.

Чтение художественных произведений существенно меняет взгляд на мир. Войну 1812 года многие представляют себе не по учебникам и историческим трактатам, а по “Войне и миру” Л.Н. Толстого, а фигуру Ришелье — по романам А. Дюма. Мещеру открывает для нас К. Паустовкий, а Японию — Харуки Мураками. И несмотря на фактические неточности и субъективность, эти литературные впечатления оказываются ярче и лучше запоминаются, чем сухой текст учебника. Они формируют наше отношение к героям, их проблемам и подсказывают способы их решения.

Особый раздел посвящен детской стоматологии. Гигиена полости рта - часть культуры, детям прививают навыки этой гигиены, в том числе и с помощью сказок и мультфильмов (вспомним мультфильм “Королева Зубная Щетка”).

Заслуживает внимания целый пласт культуры, связанный с прорезанием зубов у младенца, смены зубов у ребенка.

Во многих культурах есть обряды, связанные со сменой зубов. Шатающиеся зубы удалялись самыми разными способами, один из них подробно описан у Марка Твена.

Важную роль в развитии стоматологии играет профилактика болезней десен и зубов. Стоматологи постоянно говорят о необходимости ранней профилактики — с момента прорезывания первых молочных зубов. Существует множество сказок, историй и стихотворений для детей. Это и традиционные сказки Андерсена, и назидательные пионерские рассказы — “Шурка-Зубная щетка”, и провокационные “Вредные советы” Г. Остера.

Раздел “Без зубов” представляет тексты, описывающие удаление и протезирование зубов. Первые зубные протезы археологи нашли в захоронениях Древнего Египта. Впоследствии протезированием занимались цирюльники и нередко шарлатаны (как в отрывке из романа В. Гюго “Отверженные”).

Тема протезирования используется в юмористических рассказах М.Зощенко 20-х годов. Зощенко пишет о курьезах страховой медицины и о выговоре на собрании ячейки за вставленные золотые зубы. В послевоенном романе Г. Белля “Дом без хозяина” героиня страдает от тяжелой формы пародонтоза, но не может себе позволить качественные протезы.

Удаление зубов описывается в “Декамероне” Дж. Бокаччо, в рассказах А.П. Чехова и М.А. Булгакова, в стихотворениях С.Я. Маршака и в популярном студенческом стихотворении неизвестного автора.

В сборник вошел также раздел “Цинга”, посвященный описанию болезни, которая вызывает системные изменения во всем организме, но одним из первых ее симптомов является кровоточивость десен и выпадение зубов. Цинга - бич моряков со времени Великих Географических открытий. Цингу называли “морской скорбут”. От нее страдали жители осажденных крепостей и узники. Долгое время считалось, что цинга - инфекционное заболевание. В то время, когда туберкулез, напротив, считали болезнью неконтагиозной, цинготных больных старались изолировать, боясь эпидемий, которые нередко случались в морских кругосветных путешествиях и опустошали северные поселения.

О том, что предотвратить цингу можно, внося изменения в рацион матросов и офицеров, догадывались многие врачи и капитаны. Первое клиническое исследование на эту тему провел Джеймс Линд в 1753 году. На протяжении XIX века о своих наблюдениях за причинами болезни писали другие врачи и мореплаватели. Научные доказательства того, что цинга вызывается недостатком витамина С, были получены только в 1932 году.

В разделе “Профессионалы” собраны рассказы о стоматологах, написанные практикующими врачами - А.П. Чеховым и М.А. Булгаковым, А. Крониным и Ю.З. Крелиным. Петр Ильич и Осип Францыч Чехова рассуждают о тяготах в жизни дантистов и о секретах успешной практики. Молодой неопытный земский доктор М.А. Булгакова не может спать, боясь расправы после удаления лунки зуба у пациента. Механик-дантист А. Кронина лечит коллегу, но не моет рук и не заботится об антисептике; молодые врачи, которые лечат героя хирурга Ю.З. Крелина, боятся спорить с его авторитетом.

Последний рассказ в этом разделе написан не врачом. Это фантастический рассказ Кира Булычева о приборе, который передает боль пациента лечащему его врачу и студентам-стоматологам.

Детские страхи

Ганс Христиан Андерсен

Тетушка Зубная боль

Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старой бумагой.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь завертывать крахмал, кофе, селедки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот в бочку часто попадает то, чему бы вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого чтения: и печатного, и рукописного. И вот, мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят, между прочим, кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или рассеянного чиновника, и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше — и подавно! Собрание моего знакомого — настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок — хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц, которые стоило перечесть и два раза.

Он и показал мне однажды свое собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлеченных главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим, я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради; необыкновенно красивый и четкий почерк сразу бросился мне в глаза.

— Это писал студент! — сказал молодой человек. — Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось немного, а была целая тетрадь; родители мои дали за нее квартирной хозяйке студента полфунта зеленого мыла; но вот все, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь.

Заглавие гласило:

«Тетушка Зубная боль»

В детстве тетушка страшно пичкала меня сластями; однако зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она все еще продолжает угощать меня сладким — уверяет, что я поэт.

Во мне, правда, есть кое-какие поэтические задатки, но я еще ненастоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж — книжной полкой. На них стоят и «обыкновенные истории», и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая «литературная гниль», и хорошие произведения — словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю!

Да, во мне есть поэтическая жилка, но я еще не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих людях, а они все-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от Бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые — вспомнить не можешь.

На днях вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок — свежий зеленый листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жилок. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно вспомнил о человеческой мудрости. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и все-таки сплеча беремся читать лекцию о всем великом дереве — и о корне его, и о стволе, и о вершине: мы толкуем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тетушка Миллэ. Я показал ей листок с букашкой и передал, что мне пришло по этому поводу в голову. Глаза у тетушки загорелись.

— Да ты поэт! — вскричала она. — Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена, поражал меня своей удивительной фантазией! — С этими словами тетушка расцеловала меня.

Кто же такая была тетушка Миллэ и кто такой пивовар Расмусен?

Тетушкой мы, дети, звали тетку нашей матери; другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя все это могло испортить наши зубы, но она не могла не побаловать нас: она питала к милым деткам такую слабость и считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тетушку.

Она была старой девой, и с тех самых пор, как я ее помню, все одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тетушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг ее, пивовар Расмусен, прозвал ее тетушкой Зубною болью.

Он в последние годы уже оставил свое занятие и жил доходами с капитала. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только черные корешки. Дело в том, рассказывал он нам, детям, что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тетушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого — зубы у нее были белые-пребелые!

— Зато она и бережет-то их как! — говорил пивовар. — Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намек, но тетя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон — будто бы у нее выпал зуб! И это означает, прибавила она, что я лишусь истинного друга или подруги!

— Ну, а если это был фальшивый зуб, — усмехнулся пивовар, — то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

— Вы — невежливый старый господин! — сердито проговорила тетушка; такой сердитой я не видывал ее никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг ее хотел только пошутить, что он благороднейший человек в свете и, когда умрет, станет Божиим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?

Когда и тетя и он были еще молоды, он сватался за нее, но она слишком долго раздумывала, ну и засела в девах, хотя и осталась ему верным другом.

И вот пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице; за ней тянулся длинный хвост провожатых; между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тетушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принес нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие ее; улица опустела, и тетушка хотела отойти от окна, но я не хотел — я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился ведь теперь в ангелочка с крылышками и должен был показаться нам!

— Тетя! — сказал я. — Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас или, может быть, его принесет аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тетушка была просто поражена моей богатой фантазией и сказала: «Из этого мальчика выйдет великий поэт!» И она повторяла это все время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже конфирмовался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тетушка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моем поэтическом, и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

— Только выливай на бумагу все твои мысли! — говорила она. — И бросай их в ящик стола! Так делал Жан-Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюбливаю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в муках, сгорая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала во мне тетушка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть еще худший недуг: зубная боль! Та могла доконать, уничтожить меня вконец, превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

— Мне эта боль знакома! — говорила тетушка, сострадательно улыбаясь, а зубы ее при этом так и сверкали белизной.

Но теперь наступает новая глава, как в описании моей жизни, так и в описании жизни тетушки.

Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже с месяц и вот как описывал свое жилище в разговоре с тетушкой.

— Живу я в «тихом семействе»; хозяева не обращают на меня внимания — даже если я звоню три раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать под ними телеге — все картины так и заходят по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается, словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдается у меня во всем теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один час, а так, понемножку, один за другим, кто — поздним вечером, кто — даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне,

целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется прежде, чем совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по комнате; тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагой, но ветер все-таки пробирается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я, наконец, усну под нее, меня живо разбудит петушиное ку-ка-ре-ку. Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчике под лестницей, — для них не имеется особого стойла — лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всей семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это все кончено, над головой моей начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берет в обе руки по тяжелой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом — свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живет! И все-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом семействе!

Вот как я описал тетушке мое житье-бытье. Описание это вышло в устной передаче еще живее; устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного!

— Ты положительно поэт! — вскричала тетушка. — Только изложи все на бумаге, и ты — тот же Диккенс! А по мне, так и еще интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот все и видишь перед собой, сама переживаешь все! Брр! Даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи

в свои описания и живых лиц, людей, хороших, милых людей, лучше же всего — несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

Дело было зимою, поздно вечером, по окончании спектакля в театре. Погода стояла ужасная — такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тетушка отправилась в театр и взяла меня с собой — я должен был потом проводить ее домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тетушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы вязли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тетушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец, мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и все-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы поснимали с себя и верхнее, и нижнее платье, все, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тетушке сухие чулки и чепчик — самое необходимое, по словам доброй женщины, — и затем совершенно резонно объявила, что тетушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому — так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так все и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился самовар, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тетушки. У нее зимою и двери, и окна плотно завешены толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой бумаги, — сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер.

Тетушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен и проч. Тетушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это еще только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такою болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец, настает день — нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты — старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тетушкой все-таки заговорили о них, вернулись затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тетушка, наконец, удалилась на покой в соседнюю комнату.

— Покойной ночи, милый мой мальчик! — крикнула она мне из-за двери. — Теперь я засну, словно на своей собственной постели!

И она угомонилась, но дом наш и погоду никакой угомон не брал! Буря дребезжала оконными стеклами, хлопала длинными железными болтами ставень и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперед, потом швырнул на пол свои сапожищи и, наконец, захрапел так, что слышно было через потолок.

Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурею. Тени скользили и перебегали, но, наконец, одна из них приняла определенные очертания; я смотрел на ее движения и чувствовал, что меня пробирает мороз.

На полу сидело видение, худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам — руки, две внизу — ноги, и многоугольник наверху — голову.

Скоро видение приняло еще более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но все же ясно указывающее на особу женского пола.

Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел, или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная боль, исчадие самого ада! Да сохранит и помилует от нее Бог всякого!

— Тут славно! — гудела она. — Славное местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого, и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливных косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, наполню корни сквозняком! То-то засвистит в них!

Ужасные речи, ужасная гостья!

— А, так ты поэт! — продолжала она. — Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя каленым железом, продерну веревки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило; я корчился от боли, начал извиваться, как червь.

— Чудесный материал! — продолжала она. — Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости — тромбон! Великому поэту — великая и музыка!

И вот она начала играть! Вид у нее был ужасный, нужды нет, что я видел одну ее руку, эту туманную, холодную, как лед, руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный — буравом, и мизинец — спринцовкой с комариным ядом.

— Я научу тебя всем размерам! — опять начала она. — Великому поэту — великая и зубная боль, а маленькому поэту — маленькая!

— Так пусть я буду маленьким! — взмолился я. — Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

— Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? — спросила она. — Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я ведь и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да, уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

— Верю! — сказал я. — Верю всему! Уйди же, уйди!

— А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи — на бумаге, грифельной доске, на чем бы то ни было? Тогда я оставлю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмешься за стихи!

— Клянусь, оставлю все! — сказал я. — Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

— Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом для тебя образе — в образе тетушки Миллэ, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый мальчик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!». Но если ты поверишь мне и возьмешься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и разыграю ее на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседуя с тетушкой Миллэ!

Тут она исчезла.

На прощанье я получил в челюсть еще один укол раскаленным шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелеными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, распадались в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!.. «Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» — звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имен, надписи на развевающихся победных знаменах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-поденки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тетушка, распахнулась. Тетушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал — рассказывала она мне потом — сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тетушка ночевала тут, в доме, но потом припомнил все, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

— А ты не писал чего-нибудь вечером, после того как мы попрощались? — спросила тетушка. — Ах, если бы ты писал! Ты ведь у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-прелукаво улыбнулась, и я уж не знал — любящая ли это тетушка Миллэ предо мною или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

— Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?

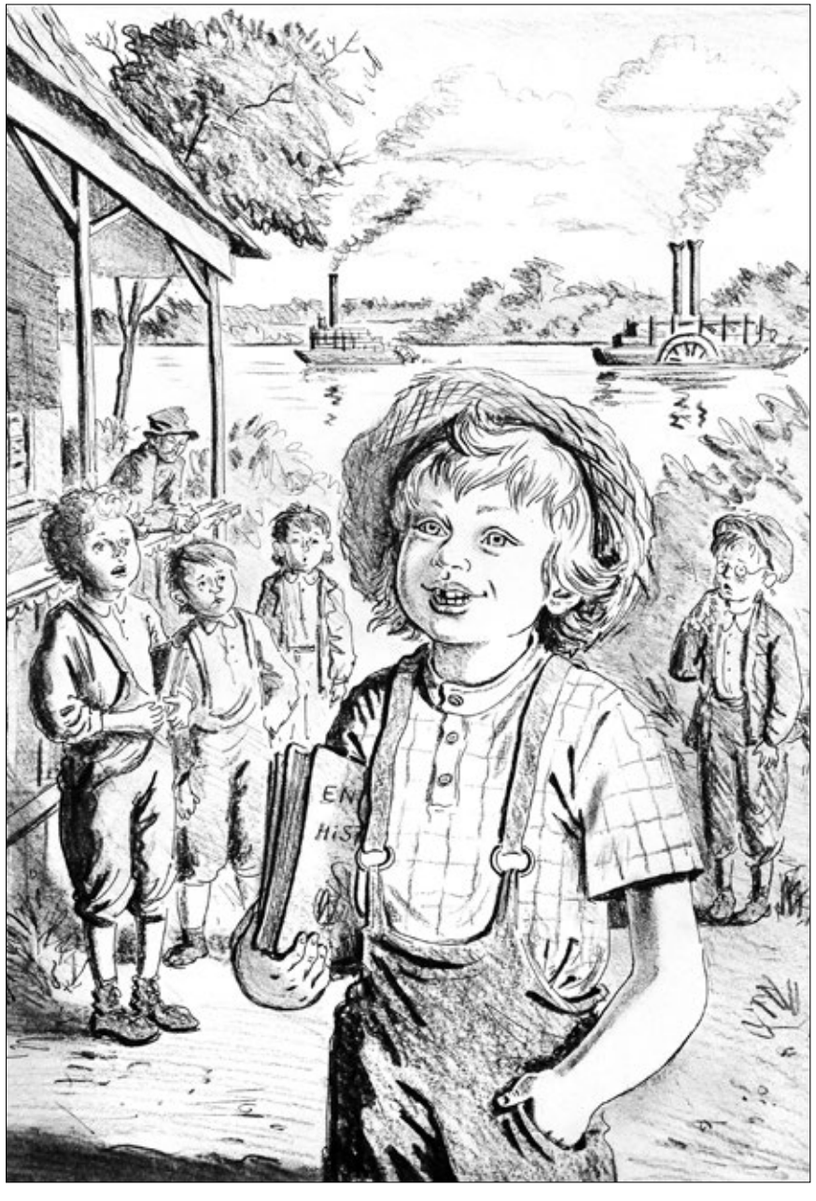
— Нет, нет! — вскричал я... — А ты... ты — тетушка Миллэ?

— А то кто же? — сказала она. И впрямь это была тетушка Миллэ. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

Я, однако, решился написать то, что тут написано: это ведь не стихи, да и напечатано никогда не будет!..»

На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обертки для селедок, масла и зеленого мыла — выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории — истории о тетушке Зубной боли!



Марк Твен

Отрывок из романа «Приключения Тома Сойера»

В понедельник утром Том проснулся, чувствуя себя совершенно несчастным. В понедельник утром всегда так бывало, потому что с понедельника начиналась новая неделя мучений в школе. По понедельникам ему хотелось, чтобы в промежутке совсем не было воскресенья, тогда тюрьма и кандалы не казались бы такими ненавистными.

Том лежал и думал. И вдруг ему пришло в голову, что недурно было бы заболеть: тогда можно и не ходить в школу. Перед ним смутно забрезжил какой-то выход. Он исследовал свой организм. Никакой хвори не нашлось, и он принялся за дело снова. На этот раз ему показалось, что у него имеются все признаки колик в желудке, и он возложил надежду на них. Однако симптомы становились все слабее и слабее и, наконец, совсем исчезли. Он стал думать дальше и скоро нашел кое-что другое. Один верхний зуб у него шатался. Поздравив себя с удачей, Том уже собрался было застонать для начала, как вдруг ему пришло в голову, что, если он явится к тетке с такой жалобой, она просто-напросто выдернет ему зуб, а это очень больно. Он решил оставить зуб про запас и поискать чего-нибудь еще. Довольно долго ничего не подвертывалось, потом он вспомнил, как доктор рассказывал про одну болезнь, с которой пациент недели на две, на три укладывался в постель и мог совсем остаться без пальца. Он сейчас же выставил «больной» палец из-под простыни и стал его рассматривать. Только он не знал, какие должны быть симптомы болезни. Все же ему думалось, что попробовать стоит, и поэтому он принялся стонать с большим воодушевлением.

А Сид все спал, ничего не подозревая.

Том застонал громче, и ему показалось, что палец у него в самом деле начинает болеть.

Сид и ухом не повел.

Том совсем запыхался от натуги. Он перевел дух, потом собрался с силами и испустил подряд несколько самых замечательных стонов. Сид все храпел.

Том даже рассердился. Он позвал: «Сид, Сид!» — и потряс его. Это, конечно, подействовало, и Том опять принялся стонать. Сид зевнул, потянулся, чихнул, приподнялся на локте и стал глядеть на Тома. Том все стонал. Сид окликнул его:

— Том! Послушай, Том!

Никакого ответа.

— Да ну же! Том! Что с тобой, Том? — И Сид схватил его за плечи, испуганно заглядывая ему в глаза.

Том простонал:

— Оставь, Сид. Не трогай меня.

— Да что с тобой, Том? Я позову тетю.

— Нет, не надо. Это, может, само пройдет. Не зови никого.

— Ну как же не звать? Перестань, Том, не стони так ужасно. И давно это с тобой?

— Несколько часов. Ох! Ой, не ворочайся так, Сид, ты меня убьешь.

— Том, чего же ты меня раньше не разбудил? Ой, Том, перестань. Просто мороз по коже дерет тебя слушать. Том, да что с тобой?

— Я все тебе прощаю, Сид. (Стон.) Все, что ты мне сделал. Когда я умру...

— Ой, Том, ведь ты же не умираешь? Не надо, Том, ой, перестань. Может, еще...

— Я всех прощаю, Сид. (Стон.) Так и скажи им, Сид. А еще, Сид, отдай мою оконную раму и одноглазого котенка этой новой девочке, что недавно приехала, и скажи ей...

Но Сид схватил в охапку свою одежду и исчез. Том и в самом деле страдал теперь, так разыгралось его воображение, поэтому его стоны звучали довольно естественно.

Сид скатился вниз по лестнице и крикнул:

— Ой, тетя Полли, идите скорей! Том умирает.

— Умирает?

— Да, тетя, умирает! Чего же вы стоите — бегите скорей!

— Пустяки! Не верю!

Тем не менее она стрелой понеслась наверх, а за нею по пятам Сид и Мэри. Лицо у нее побелело, губы дрожали. Подбежав к постели, она с трудом вымолвила:

— Ну, Том! Том! Что с тобой такое?

— Ой, тетечка, я...

— Что с тобой, Том, что такое с тобой случилось, мой мальчик?

— Ой, тетечка, у меня на пальце гангрена!

Тетя Полли упала на стул и сначала засмеялась, потом заплакала, потом и то и другое вместе. Это вернуло ей силы, и она сказала:

— Ну, Том, что за фокусы ты со мной вытворяешь! Брось эти глупости и вставай.

Стоны прекратились, и боль в пальце совсем пропала. Том почувствовал себя довольно глупо и сказал:

— Тетя Полли, мне показалось, что это гангрена, и было так больно, что я совсем забыл про свой зуб.

— Вот как! А что у тебя с зубом?

— Один зуб вверху шатается и болит так, что просто ужас.

— Ну, ну, ладно, только не вздумай опять стонать. Открой рот. Ну да, зуб шатается, только от этого никто еще не умирал. Мэри, принеси мне шелковую нитку и горящую головню из кухни.

Том сказал:

— Ой, тетечка, только не надо его дергать. Теперь он уже совсем не болит. Помереть мне на этом месте, ни чуточки не болит. Пожалуйста, не надо. Я все равно пойду в школу.

— Ах, все равно пойдешь, вот как? Так все это ты затеял только ради того, чтобы не ходить в школу, а вместо того пойти за реку? Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты меня просто убиваешь своими дикими выходками!

Орудия для удаления зуба были уже наготове. Тетя Полли сделала из шелковой нитки петельку, крепко обмотала ею боль-

ной зуб, а другой конец нитки привязала к кровати. Потом, схватив пылающую головню, ткнула ею чуть не в самое лицо мальчику. Зуб выскочил и повис, болтаясь на ниточке.

Но за всякое испытание человеку полагается награда. Когда Том шел после завтрака в школу, ему завидовали все встречные мальчики, потому что в верхнем ряду зубов у него теперь образовалась дыра, через которую можно было превосходно плевать новым и весьма замечательным способом. За Томом бежал целый хвост мальчишек, интересовавшихся этим новым открытием, а мальчик с порезанным пальцем, до сих пор бывший предметом лести и поклонения, остался в полном одиночестве и лишился былой славы. Он был очень этим огорчен и сказал пренебрежительно, что не видит ничего особенного в том, чтобы плевать, как Том Сойер, но другой мальчик ответил только: «Зелен виноград!» — и развенчанному герою пришлось со стыдом удалиться.

П. Н. Яковлев

Шурка — Зубная щетка

"Пионер охраняет здоровье свое и других, он выносливый и бодр. Встает рано утром, тщательно умывается, делает гимнастику".

(1-й обычай пионеров).

На дворе стоял светлый май.

Утренние солнечные лучи скользнули по подоконнику и заиграли яркими зайчиками на стене комнаты, в которой спали два брата — Петя и Шура Пастуховы. Сладко спалось ребятам.

Но вот на колокольне пробило семь часов.

Петя открыл глаза, потянулся, и вдруг, как ужаленный, быстро вскочил с кровати. Еще с вечера, ложась спать, он дал себе слово: проснувшись, ни одной минуты не оставаться в постели.

— И вовсе нетрудно вставать сразу, — решил он.

Быстро распахнув окно, выглянул Петя во двор, где уже важно похаживал его любимый пес Шарик.

Увидев своего хозяина, Шарик завилял хвостом.

— Эй, Шарик, доброе утро!

Шарик подошел ближе и радостно залаял:

— Гав! Гав!

— Сейчас, сейчас, Шарик!

Захватив одеяло, Петя выскочил чрез окно во двор.

— Ну, Шарик, за работу!

Развесив одеяло на веревке, Петя стал выбивать из него пыль и подпевать:

Помни правило одно:
Утром не валяйся,
Раствори скорей окно,
Живо умывайся!

Выбив одеяло и проделав то же самое со своей одеждой, Петя вернулся в комнату и подошел к постели брата.

— Шура, вставай!

Шурка что-то промычал, натянул на голову одеяло и снова захрапел.

Петя стал его трясти.

— Шурка, слышишь, довольно дрыхнуть. Вставай! Вредно спать долго...

Шурка не отзывался.

— Ну, подожди... — сказал Петя, и стащил с брата одеяло.

Шурка рассердился:

— Чего пристал? Я спать хочу. Отстань!

— Да, ведь, ты-ж проснулся? Ну, что за охота валяться? Вредно.

— Убирайся к чорту! Отдай одеяло.

— Эх ты, сонная курица!

— Вот, чорт, пристал. Давай одеяло, а то тумаков надаю.

— Да уж восьмой час...

Шурка вскочил, выхватил у брата одеяло и, выругавшись, снова завалился в постель.

— Да ты хоть с головой не укрывайся. Вредно так дышать. Ну, какой ты после этого пионер?

— А вот, как дам тебе сейчас, так будешь знать, как приставать. Вот прилип, сатана!

— Ну, дело твое. На себя потом и пеняй.

Взяв полотенце, мыло, зубной порошок и щетку, Петя отправился к водопроводному крану; сбрасывая с себя рубаху, он снова запел:

Чтоб здоровье сохранить,
Тоже надо сметку;
Постарайся-ж не забыть
Про зубную щетку.

Тщательно почистив зубы, Петя принялся за гимнастику. Проделав положенные на утро упражнения, он умылся, обильно намыливая себе и руки, и лицо, и свою стриженую голову и, наконец, обтерев себя по пояс мокрым полотенцем, отправился в комнату.

— Шурка, да ты встанешь или нет?

— Мм-ы... Не лезь...

— Валяется, как старый хрыч, — рассердился Петя: — размазня дохлая!

Вошла мать.

— Ты, Петя, уже встал?

— Я-то встал, а вот Шурка, смотри, до сих пор валяется.

— Чего-ж ты его не разбудишь?

— Попробуйте, разбудите-ка его, идола.

— Шура, вставай, мальчик: пора, самовар уже на столе.

— Мм... Отстаньте... Еще рано...

— Какое там рано! Все уже давно встали.

— А? Чего? Я спать хочу.

— Вставай, уже скоро восемь. Да, вставай-же, а то водой холодной оболью.

— Сейчас... Я еще минутку...

— Нет уж, голубчик, вставай, вставай сию же минуту.

Шурка высунул из-под одеяла голову и, чуть приоткрыв глаза, протирал их кулаком.

— Вечно этот Петька спать не дает...

— Да ведь в школу опоздаешь...

— А я сегодня не пойду.

— Это еще почему? — удивилась мать.

— Так... Не хочу... Голова болит...

— Оттого и голова болит, что дрыхнешь много, — сказал Петя.

— А тебе, Петька, ей-ей скулы на бок сверну. Чего ты ко мне привязался? Надоел ты мне со своими гимнастиками, да обтираниями, да зубными щетками.

— Эх ты, а еще пионер! По шапке тебя из отряда, вот что!

И Петька весело запел:

Кто в кровати утром зря
Полежит немножко,
Тот, поверьте мне, друзья.
Станет дохлой кошкой.

— Это, Шурка, наверно про тебя такую песню сложили. Как ты думаешь?

Шурка спустил с кровати ноги и стал скрести пятерней в голове.

— Фу, Шурка, смотреть на тебя даже противно, — сказала мать, — чешешься, как поросенок...

— Точь в точь, как в песне, — подхватил Петька, и снова запел:

Коль привычек к чистоте
Нету у ребенка,
Так похож, поверьте мне,
Он на поросенка...

Шурка поднял с пола ботинок и замахнулся на Петьку.

— Хочешь ботинком запущу?

— И в кого ты, Шурка, такой дурной? — сказала мать, — ты старше Петьки, ты бы ему пример должен во всем подавать, а на тебя и смотреть стыдно. Ну, глянь на себя в зеркало. На кого ты похож? Сидишь немытый, нечесаный и ботинок в руке крутишь. Точно дикарь какой. Зубы никогда не чистишь. Изо рта у тебя бог знает чем несет. Сходи сегодня к парикмахеру, остриги голову под машинку, а то у тебя, небось, уже и насекомые разные завелись.

— Ну, да, завелись... Откуда вы взяли? Ничего не завелись. Голова, как голова.

— А кто вчера на подушке вшу поймал? — спросил Петька.

— Фу, срам какой! — вскликнула мать. — Чтоб ты мне сегодня же обкарнал свои патлы! Ходишь, как дьякон. Сейчас-же вставай: Пока вода в самоваре горячая, я тебе голову, дураку, вымою.

II.

За чаем Петя уплетал за обе щеки. Лицо у него было румяное, свежее. В каждом движении мускулов чувствовалась сила и бодрость, а Шура поковырял, поковырял кусочек хлеба и сделал кислую рожу:

— Не хочу ничего есть. Голова болит.

После обеда, возвратясь из школы, Петя сказал брату:

— Эх, ты, соня! Проспал ты, Шурка, сегодняшние уроки, а у нас в классе было так весело. Сегодня нас на завод водили, показывали нам всякие машины.

— Ну, и пусть себе, — ответил Шурка, делая равнодушное лицо. На самом же деле он очень завидовал брату.

— После обеда к нам Володька придет. Пойдешь с нами гулять?

— Пойду, — ответил Шурка.

Когда пришел Володя, мальчики стали совещаться, куда им пойти.

— Пойдемте в степь, к реке, — предложил Петя.

— К реке, к реке! — подхватил эту мысль Володя: — а потом на лодке на другой берег переправимся, в лес пойдем.

— Фу, в какую даль тащиться, — протянул лениво Шура, — была охота по жаре таскаться.

— Да ты, Шурка, прямо как старая баба, — возмутились мальчики: — гимнастикой не занимаешься, дрыхнешь по двенадцати часов в сутки, того не ешь, того не любишь. Что ты за человек? Кисель ты, размазня. А еще пионер!

И Петя с Володей запели:

Борщ не ем, а только суп
Из куриных почек,
Оттого я вял и глуп —
Маменькин сыночек.
Лишний шаг пройти боюсь,
А труда тем боле,
И от ветра я валюсь,
Как былинка в поле.

— Ну, итти, так идем, — сказал Петька, — а не хочешь с нами в степь, так сиди дома.

— Да уж пойду, — согласился Шурка.

Мальчики стали снаряжаться в дорогу. Взяв самое необходимое, тронулись в путь.

На окраине города решили сделать короткий привал. Только было расположились, как вдруг, откуда ни возьмись, здоровенный

пес, и прямо на ребят. Не долго думая, Петька с Володькой на забор, а забор высокий, не сразу на него вскочишь. Однако, ребята напрягли мускулы, прыгнули и, уцепившись за верхнюю доску, живо вскарабкались наверх. Но не успели они притти в себя, как раздался неистовый крик. Шурка, вися на заборе, отчаянно болтал ногами, за которые хватал его злой пес. Шурка орал, что есть духу.

Увидя брата в таком плачевном положении. Петька сел на забор верхом, обхватил его крепко ногами и, взяв Шурку за плечи, стал тянуть вверх. На подмогу подоспел Володька и кое-как, общими усилиями. Шурка был спасен.

— Чорт бы вас взял с вашей прогулкой, — ныл Шурка, жалуясь.

— Весь сапог мне собака прогрызла. Спасибо, хоть ноги целы.

— А ты не будь тряпкой. Хорош пионер — на забор вскочить не умеет. Рохля!

— Пойду домой, — решил Шурка.

— Ну, и иди.

Однако, боязнь снова повстречаться со страшным псом заставила Шурку не расставаться с ребятами.

— Ладно уж, пойду с вами, — сказал он.

Выйдя в степь, мальчики зашагали по дороге. Петька с Володькой шли ровным, бодрым шагом и старались дышать глубоко, а Шурка то и дело присаживался отдыхать.

— Оттого ты и устаешь, Шурка, что часто садишься отдыхать. Разве так в походе себя держат?

— Да уж довольно, пойдем домой. Чего там не видали у реки?

— Лучше бы ты не ходил с нами, — возмутились мальчики, — только и знаешь, что ноешь. И себе удовольствие отравляешь, и нам.

— Ну, ладно, идите, я вас догоню.

— Хорошо, мы тебя будем ждать у реки.

Петя с Володей пошли дальше, а Шурка снова присел у дороги. Пройдя шагов тридцать, Петя обернулся и увидел, что Шурка чиркнул спичкой.

— Зря только спички тратит, — сказал он товарищу.

— Кто?

— Да Шурка...

Володя тоже обернулся:

— Да ты смотри, что он делает?

— Что?

— Курит.

— Да ну? Вот это так пионер! Сколько раз я этому дураку говорил, чтоб бросил куренье. Придется матери сказать.

— А знаешь что, — сказал Володя, — песня, которую мы поем, как будто нарочно про Шурку сложена:

Не бери плохой пример
Самоодуренья, —
Вред ужасный, пионер,
Помни от куренья.

Придя к реке, мальчики присели отдохнуть.

— Ну, отдыхать, так по пионерски, — сказал Володька, опускаясь на землю и кладя ноги на большой находящийся тут же камень. Точно так же поступил и Петька. Посидев так некоторое время, ребята решили купаться.

— А где же наш Шурка застрял? — спросил, стаскивая с себя одежду, Петя.

— А вон он идет...

— Эй, Шурка, иди скорей, купаться будем.

— Не хочу. Очень нужно купаться.

Пока два мальчика купались, плавали и ныряли в реке, Шурка лениво развалился в тени под деревом и снова принялся за куренье.

— Шурка, да иди же купаться... Неужели не хочешь?

Шурка, наконец, согласился. Раздевшись, он подошел к воде и попробовал ногой температуру.

— Фу, холодная! Не хочу!

— Да ты сразу ныряй. Нежный какой! Вода вовсе не холодная. Это тебе так кажется.

Шурка полез в воду. Забравшись в нее по колени, он в нерешительности остановился.

— Эх, ты, воды боишься, — презрительно сказал Володька, и обдал его целым фонтаном брызг. Шурка взвизгнул и выскочил на берег. Ребята расхохотались.

— Давай его силком в воду втащим, — предложил Петька.

Ребята пустились в погоню за Шуркой. Как тот не брыкался, однако они его втащили в воду и повалили.

— Плыви, сатана!

Шурка поплыл, как топор. Заболтал руками и ногами и пустил целую кучу пузырей. Пока он барахтался, отфыркивался и отплевывался, Володька выбежал на берег, вытащил у него из куртки папиросы и спрятал их в траве под камнем.

— Ну, довольно, ребята, пора вылезать из воды, — предложил Володя. Петька вылез и они стали бегать по берегу, чтобы высохнуть.

Тем временем Шурка вошел во вкус купанья и сидел в воде, как бегемот.

— Смотри, какой блаженный, — указал на него Петька, — прямо дед водяной.

— Да ты, Шурка, вылезай, нельзя так долго в воде сидеть, — крикнул ему Володька.

— Сколько хочу, столько и сижу, — ответил тот.

— Ну, что с таким ослом делать? Да ведь пойми — вредно!

— Ерунда.

— Оттого ты и дохлый такой, что никаких правил пионерских не соблюдаешь. Вылезай, солнце уже к закату клонит. Простудишься.

— Ерунда, — заладил свое Шурка.

Наконец он вылез. Посинев и дрожа от холода, стал одеваться.

— Да ты высохни сначала.

— Где-ж я высохну, когда уж солнце садится?

— А чего-ж ты не вылезал, когда тебя звали?

— А уж очень вода теплая. А на воздухе холодно. Я у костра обсохну.

Развели ребята костер. Шурка сел у костра. От его одежды поднялся целый клуб пара.

— Ох, и дурной ты, Шурка. Все ты делаешь не по-человечески. Смотри, на кого ты похож? Весь дрожишь.

Шурка не попадал зуб на зуб. Кое-как обсохнув и согревшись, полез он в карман за папиросами.

— Где мои папиросы?

Володька и глазом не моргнул, как будто его это не касается.

— Ребята, кто мои папиросы стащил?

— Да ты их, наверное, потерял.

Достали хлеб, поделили поровну.

Шурка живо отправил свою порцию в желудок.

— Видишь, брат, — сказал Володя, — без курева-то и аппетит у тебя лучше. На чорта ты куришь? Разве пионеры курят?

— А тебе что?

— Да мне ничего, а раз ты — пионер, так нечего курить.

— Мое дело.

— Твое-то твое, а у пионеров свои законы есть. Я, брат, в отряде скажу, что ты куришь, вот тебя из пионеров и прогонят.

— Ну, и пускай. Очень мне нужно.

— Однако, мы засиделись, домой пора, ребята, — сказал Петька.

Собрав пожитки и раскидав костер, мальчики отправились домой.

III.

Ночью Шурка проснулся от зубной боли.

— Петька, позови маму, зубы болят.

Петька позвал мать.

— Не чистишь никогда зубы, оттого они у тебя и болят, — сказала мать: — покажи который зуб болит.

Шурка раскрыл рот и показал больной зуб.

— Я тебе компрес согревающий сделаю, — сказала мать. — А больше, что же я могу сделать? Подождешь до утра, утром к зубному врачу сведу.

Всю ночь Шурка охал и стонал. Утром глянул в зеркало и увидел распухшую щеку.

— Э, да это у тебя флюс, — сказала мать, — пока не прорвется нарыв, зуб рвать нельзя.

Два дня мучился Шурка с флюсом. И стонал, и плакал, и под подушку головой забирался. Глаза ввалились, покраснели и распухли от слез.

— Какой ты красавец, Шурка, — говорил покачивая головой Петя: — А все от твоей же глупости. Скажи еще спасибо, что дело только флюсом обошлось.

— Убирайся к чорту! Все зубы повырываю, а чистить на зло не буду.

Когда нарыв на десне прорвался, мать повела Шурку к зубному врачу.

— Да, у него четыре зуба никуда не годятся, — сказал доктор: — самое лучшее их вырвать.

Целую неделю ходил Шурка к врачу.

Когда его усадили в кресло и потянули за больной зуб щипцами, — он так, несчастный, орал, так ему было больно, что даже ногами дрыгал.

— Разве можно так зубы запускать? — сказал доктор: — почистить лень, а теперь приходится такие мученья переносить.

Из-за зубов Шурка не ходил в школу больше недели. Ко всему у него еще кашель открылся.

— Вот видишь, Шура, — говорила мать, — смотри какой Петя здоровый, веселый, сильный, как ему легко всякие науки даются, а ты по лени и по глупости распустил себя, и на кого ты стал похож? В ученьи отстал, только и знаешь, что на разные немочи жалуешься, как старик. А потом я у тебя и куртке папиросы нашла. Неужели ты куришь?

Шурка смутился.

— Это не мои папиросы... это... это... это я их на улице нашел.

— Врешь. А почему простыня у тебя прожжена?

— Не знаю...

VI.

Потеряв всякую надежду исправить Шурку, Володя сообщил о нем в отряд.

— Ты не думай, что я на тебя кляузничаю, — сказал он, — как мне ни жаль тебя, но я был принужден сообщить о тебе вожатому.

— Ябеда! я тебе морду набью!

— Не ябеда, а должен я про тебя сказать. Может быть, это тебя исправит...

Обсудив поведение Шурки, пионеры удалили его из отряда, дав срок на исправление.

Отстав от товарищей, Шурка остался в классе на второй год.

В то время, как пионеры, следуя всем своим законам и обычаям, быстро развивались и умственно, и физически, Шурка сидел целые дни дома, ничего не читал, ничего не делал, и только и знал, что курил.

Мать прямо не знала, что с ним делать.

Пришли летние каникулы. Пионеры готовились всем отрядом в экскурсию на море, где предполагали прожить все лето в лагере.

— Эх, Шурка, Шурка, — покачивал головой Петька, — сам ты себя наказываешь.

Шурка ходил из угла в угол, насупившись:

— Плевал я на вашу экскурсию.

Однако, он это только говорил. Где-то в глубине точил его червячек. И неприятно ему было, и стыдно, а главное досадно на самого себя.

— А, ведь, как бы хорошо сейчас с ребятами на море... Эх!

Чрез несколько дней пионеры уехали. Шурка остался один и ходил мрачнее тучи.

Раз он зашел в комнату матери. Мать сидела у окна и плакала.

— Ты о чем, мама?

Мать ничего не ответила. Понял Шурка, что он, и только он, является причиной ее огорчения.

Не по себе Шурке. Скучно как-то, нудно. Не знает Шурка, за что взяться.

Вышел во двор, стал дразнить Шарика, но и тот убежал.

Пошел опять Шурка в комнаты, сел за стол и стал рисовать. Нарисовал море, лодку с парусом, а в лодке пионеров.

И еще тоскливее стало. Еще-бы! Петька с Володькой, небось, сейчас по морю на лодке катаются, весело им, интересно, а он, Шурка, дома остался и уже не пионер...

Скучно...

— Мыльные пузыри пускать, что ли?

Лениво поднявшись, Шурка пошел к умывальнику.

На умывальнике лежала чья-то новенькая зубная щетка.

— Какая красивая щеточка, — подумал Шурка и взял ее в руки. Повертев щетку в руках, он вдруг решил почистить себе зубы.

Вошла в сени мать.

— Ты что делаешь, Шурка?

Шурка не мог сразу ответить, потому, что у него рот был полон зубного порошку.

— Мм... — промычал он, показывая матери щетку.

— Да ты что? Моей щеткой свои грязные зубы чистишь?

— Мм...

— Покорно благодарю. Можешь теперь эту щетку себе оставить.

Выполоскав рот, Шурка спросил:

— Мне?

— Да уж бери себе. Только не верю я, что ты каждый день будешь зубы чистить.

— А вот буду.

— Посмотрим.

Вычистив зубы, пошел Шурка в комнаты.

— А, ведь, как хорошо теперь во рту, — подумал он, — не то, что после папирос. Чем бы, однако, еще заняться?

Попробовал Шурка вырезать из картона конницу, да как-то ничего не клеилось.

Задумался мальчик... Скучно... Брат с Володькой там, на море, другие ребята также с ними. Вот, небось, где весело!

— Закурить, что ли, со скуки?

Подойдя к окну, он достал из кармана пачку папирос, долго смотрел на нее, вертя в руках, вздохнул, и вдруг со всего размаху запустил ею в Шарика.

— Чорт с ними, с папиросами, не буду курить!

Даже как-то вдруг легче на душе стало.

Пошел Шурка снова к матери.

— Мама, я учиться хочу. Дай мне на лето учителя, я целые дни заниматься буду и брата догоню.

Мать обняла Шурку, поцеловала и спросила:

— А не лжешь ты, Шурка?

— Да я уже и папиросы Шарику выбросил.

— Какому Шарику?

— Да собаке нашей.

Пригласила мать Шурке учителя и уселся Шурка за учебу.

Первые дни дело шло плохо. Отучился Шурка сидеть за книгой. Задумается и по привычке в карман за папиросами лезет.

Дней пять Шурка не курил, выдерживал характер. На шестой не выдержал, утащил у отца папиросу, заперся в комнате и закурил.

Покурив немного, почувствовал, что голова закружилась и во рту вдруг стало так скверно да противно...

— Фу, какая гадость!

Бросив папиросу, Шурка побежал снова чистить зубы.

— Нет, теперь больше курить не стану, — решил он и запел:

Чтоб здоровье сохранить,
Тоже надо сметку.
Постарайся-ж не забыть
Про зубную щетку.

В довершение ко всему Шурка принялся за гимнастику и обтирание.

Чрез два с половиною месяца его нельзя было узнать. Он порозовел, поздоровел и совершенно перестал жаловаться на головные боли.

Вышел он как-то на улицу. Окружили его ребята и стали дразнить.

— А, немощь несчастная, здравствуй!

— Был, да весь сплыл, — сказал Шурка.

— Как это «сплыл»?

— А вот подойди, я тебе покажу.

Дразнивший его мальчик, от которого Шурка неоднократно получал тумаки, подошел ближе.

— В чем дело?

— А в том, что не лезь ко мне, а то плохо будет...

— Это от тебя-то, от холеры?

— А вот тогда увидишь.

Мальчик хотел было ударить Шурку, но тот в два приема положил его на лопатки.

Окружающие ребята разинули рты.

— Вот это так, Шурка! Эй, откуда же это у тебя сила взялась?

— От зубной щетки.

— Как?

— От зубной щетки, — повторил улыбаясь Шурка.

Ребята ничего не понимали.

— А ну, покажи мускулы?

Шурка засучил рукав и показал.

— Неужто от зубной щетки?

— А то от чего же? Конечно, от щетки.

— А не врешь?

Шурка прищурил лукаво один глаз, посмотрел на ребят и сказал:

— Дураки! Щетка щеткой, а гимнастику тоже делать надо.

К концу лета возвратились из лагеря пионеры.

Петька и Володька не узнали Шурку.

— Шурка, да ты прямо богатырь. Прямо чудо!

— А я вас и в науках догнал.

Шурка рассказал товарищам, как он все лето занимался.

— Да, что это с тобой стало?

Шурка ничего не ответил. Молча достал из кармана зубную щетку и показал ребятам.

— Видели? Это она, — щетка, все сделала!

Узнав обо всех переменах, произошедших в Шурке, Володька доложил в отряд. Проверив все обстоятельства и удостоверившись, что Шурка выдержал испытание, — пионеры снова зачислили его в свою семью. Только с тех пор за Шуркой осталось прозвище «Зубная щетка».

— Ну, что-ж, — говорил Шурка, — зубная, так зубная. Я даже горжусь.

И Шурка запел:
В пионерскую семью
Вновь вошел родную.
И за то благодарю
Щеточку зубную!

1925 год.

С. А. Могилевская

Про Машеньку и зубную щетку

Пока Маша была маленькой, зубы она не чистила и зубной щётки у неё, конечно, не было. Но, когда ей исполнилось три года, бабушка сказала:

— Теперь ты большая девочка, нужно каждый день чистить зубы.

Машенька кивнула:

— Ладно, буду! Только у меня ведь нет зубной щётки.

Тогда бабушка дала Машеньке целую коробку зубного порошка и зубную щётку. Ручка у этой зубной щётки была очень красивая — совсем прозрачная и совсем жёлтая. А сама она была такая большая, как у взрослых.

— Спасибо! — обрадовалась Машенька. — Я прямо сейчас буду чистить зубы.

И не успела бабушка оглянуться, как она открыла коробку с зубным порошком, окунула в порошок щётку и... фу, до чего противно! Щётка оказалась колючей, а порошок такой невкусный!

— Не хочу я чистить зубы! — рассердилась Машенька. — Никогда не буду! — И она тут же бросила на пол свою новую зубную щётку.

А дальше — больше! И умываться Машенька вдруг не захотела. И причесать себя не позволила бабушке. Вот какие пошли капризы!

— Что ж, — сказала тогда бабушка, — оставайся грязнулей. Какие у тебя руки, глядеть не хочется!

С этими словами она ушла, даже дверь за собой закрыла.

Машенька поглядела на свои руки, а на них и правда глядеть неохота. «Придется вымыть», — подумала она. Залезла на табуретку, взяла мыло, кое-как намылила руки, только собралась водой сполоснуть — глядь, на ладошке сидит мыльный пузырик. Совсем маленький. Даже меньше обыкновенной горошины. Сидит, весь переливается, на Машу посматривает и словно бы чуть-чуть посмеивается.

— Ну тебя! — обиделась Машенька и пустила на пузырик из крана воду.

А он всё равно сидит, не смывается. Потрясла рукой, а он и не стряхивается. Тогда Машенька принялась сдувать пузырик. А он как пошёл раздуваться, как пошёл раздуваться! Сперва стал с яблоко. Потом с футбольный мяч. А потом ещё больше.

Машенька испугалась. Ещё никогда она не видала таких мыльных пузырей. Она хотела отдёрнуть от него руки. Да не тут-то было. Руки у неё вдруг приклеились к пузырю крепко-накрепко.

Тут распахнулась дверь, поднялся сквозной ветер, подхватил пузырь, и он вместе с Машей вылетел в раскрытое окошко.

— Бабушка, бабушка!.. — закричала Машенька.

Но бабушка была где-то далеко и не видела, как Машенька вместе с мыльным пузырём уже летела над крышами домов.

А мыльный пузырь поднял Машу прямо к облакам. Потом ещё выше.

И вот облака оказались внизу. Они были похожи на густую мыльную пену.

Со страха Машенька ещё сильнее вцепилась в пузырь, а он всё-таки был мыльный, некрепкий и сразу разлетелся на тысячи крохотных капель.

Охнув, Машенька кувырком полетела вниз. Упала она на что-то очень мягкое, в какую-то белую пыль. А пахла эта пыль мятой.

Девочка ничуть не ушиблась, только вскрикнула и тут же громко чихнула.

И рядом, она услыхала, ещё кто-то чихает. Раз чихнул. Второй раз чихнул. Третий...

Машенька посмотрела: кто это тут?

А снизу раздался тоненький голос:

— Апчхи! Это я.

Машенька глянула вниз и увидела свой собственный гребешок. Он бегал вокруг неё, будто сороконожка.

— Ты откуда взялся? — удивилась Машенька.

— «Откуда, откуда»! Из твоего кармана выпал. Всё из-за тебя... — сердито начал гребешок, но, не договорив, снова зачихал.

Машенька испуганно огляделась:

— Гребешок, где мы теперь?

Гребешок, будто настоящая сороконожка, весь изогнулся, приподнялся, показал на столб, на котором висела дощечка с надписью, и сказал:

— Читай!

— Я ведь ещё маленькая, я ещё не научилась читать, — сказала Машенька.

Тогда гребешок — а он-то умел читать — громко и внятно прочёл:

— «Пустыня зубного порошка», — и тут же злорадно прибавил: — Вот не хотела умываться, не хотела причёсываться, не хотела чистить зубы, бросила свою зубную щётку, теперь сиди здесь до самой старости!

Машенька заплакала:

— Я не хочу сидеть здесь до самой старости! Я домой хочу! К бабушке.

Гребешку стало жалко Машеньку. Он подумал и сказал:

— Не знаю, что нам делать! Может, пойти к зубной щётке? Она здесь королева!

— Тогда скорей, скорей идём к этой самой короле к зубной щётке! — закричала Машенька.

— «Скорей»! — насмешлива повторил гребешок. — Легко сказать «скорей»! А дорогу ты знаешь?

— Нет, — сказала Машенька, — не знаю.

— Ну и я не знаю.

Машенька собралась было снова заплакать, но гребешок на неё прикрикнул:

— Не реви! Слезами делу не поможешь. Пойдём с тобой куда глаза глядят. Авось кого-нибудь встретим, тогда и расспросим про дорогу.

Что и говорить, трудно им было идти по пустыне зубного порошка. Порошок-то ведь сыпучий, мягкий. Машенька и гребешок то увязали по щиколотку, то проваливались до колен. А один раз оба скатились под откос белого оврага и насилу оттуда вылезли.

— Ох, я дальше не пойду! Я устала! — захныкала Машенька.

Но гребешок повернулся к ней и крикнул радостным голосом:

— Впереди вода и чей-то домик! Не плачь!

Ещё немного, и они вышли на берег мыльной реки. Вода в этой реке была перламутровая, а у берега покрыта пеной из мыльных пузырьков. У самой реки стоял чистенький, белый домик. Крыша на нём была тоже белая, из красивой пластмассы, а стёкла в окошках до того прозрачные, будто их и вовсе нет.

В домике жила тётушка мочалка.

Распахнув оконце, она сразу увидела Машеньку и всплеснула руками: никогда прежде ей не приходилось встречать таких девочек-замарашек.

— Девочка-замарашка! — крикнула она. — Тебе что нужно?

Машенька подошла поближе и вежливо спросила:

— Вы не знаете, как нам пройти к королеве зубной щётке?

— Дорога-то одна, — ответила тётушка мочалка, — через мой сад. Только такую грязнулю туда я не пущу. Сначала тебя надо вымыть.

— Нет, — сказала Машенька, — мыться я не стану.

— Что ты, что ты! — заволновался гребешок. — Ведь другой дороги нет! Разве ты хочешь остаться здесь навсегда?

Машенька подумала, подумала и — что делать? — согласилась. Ей не хотелось на всю жизнь оставаться в пустыне зубного порошка.

Но она сказала тётушке мочалке:

— Только вода пусть буден не очень горячая, и мыло пусть не лезет в глаза, а вы меня, пожалуйста, не трите слишком сильно!

— Ладно! — Тётушка мочалка захлопотала, засуетилась: она очень любила всех мыть.

Сначала тётушка мочалка притащила из мыльной реки одно ведро воды. Вылила в ванну. Потом притащила второе ведро.

— Для одной девочки, пожалуй хватит!

А вода в ванне запенилась, зашипела, залопотала сердитым голосом:

— Мало-мало-мало-мало...

Пришлось принести третье ведро. Тогда вода успокоилась, и тётушка мочалка позвала Машеньку:

— Иди, Маша, мыться!

И уж она её мыла-мыла, уж она ее тёрла-тёрла, уж она её водой поливала-поливала и всё приговаривала:

— Вот какая чистенькая да хорошенькая девочка получилась! Такую можно и через мой сад пустить.

А сад у тётушка мочалки был вот какой: на грядках у неё росли красные резиновые губки, на клумбах — разноцветные куски мыла и удивительные цветы. На их стебельках виднелись небольшие краники. Повернёшь такой краник налево — и тотчас из цветка на тебя брызнет холодный душ; повернёшь направо — польёт тёплый.

Тётушка мочалка провела Машеньку с гребешком через весь сад, отворила им калитку и спросила:

— Видите эту белую дорожку?

— Видим, — ответили оба.

— Вот и идите по ней прямо-прямо. Никуда не сворачивайте, придёте к гребешковому лесу. Там вам скажут, как иди дальше.

Гребешок обрадовался:

— Маша, мы в гребешковый лес пойдём! Вот хорошо!

И, простившись с тётушкой мочалкой, они побежали по белой дорожке. Да и дорожка ли это? Уж очень она была похожа на мохнатое полотенце.

Наконец вдали показался лес. Гребешок кинулся туда со всех ног. Машенька еле поспевала за ним.

Чудеса были в этом гребешковом лесу! У каждого дерева на ветках вместо листьев росли гребешки. Они были не только зелёные, а самые разные — и оранжевые, и жёлтые, и красные, и ярко-голубые.

Машенька остановилась на опушке. Ей страшно было войти в этот необыкновенный лес.

— Входи смелее, входи, не бойся! — торопил её гребешок и подталкивал к лесу.

Но, едва Машенька шагнула в лес, деревья сразу зашевелили своими ветками, а гребешки ну приглаживать, ну расчёсывать Машенькины спутанные волосы. Да так больно!

— Не пойду я через этот гребешковый лес! — закричала Машенька. — Гадкий лес. Какие деревья там противные!

Гребешок очень обиделся:

— Плохой, по-твоему, лес? Раз так, оставайся растрёпой.

Не успела Машенька слово сказать, как он быстро-быстро засеменил ножками и скрылся за гребешковыми деревьями.

— Гребешок, гребешок, куда ж ты? — крикнула Машенька и бросилась за ним вдогонку.

Деревья снова принялись её причёсывать. Сначала Маше было больно, только она этого уже не замечала, а думала лишь об одном: скорей, скорей догнать гребешок.

Но, чем дальше она бежала, тем легче становилась дорога, тем мягче прикасались к ней листья-гребешки. А когда гребешковый лес остался позади, её волосы стали гладкими, блестящими и закрутились на концах в тугие колечки.

А гребешок уже ждал Машеньку за лесом.

— А вот, — сказал он, — теперь тебе можно показаться королеве зубной щётке.

И Машенька увидела впереди, на высокой белой горе, необыкновенный дворец. Он был построен из разных коробок — круглых, четырёхугольных, маленьких, больших. Были там зелёные, синие и пёстрые коробки. Коробки с картинками и без картинок. На каждой было написано: «Зубной порошок». А у входа, будто круглые колонны, стояли тюбики с надписью «Зубная паста».

Вот какой дворец был у королевы зубной щётка!

А когда они перешагнули через дворцовый порог, Машенька даже испугалась: столько щёток разгуливало в королевском дворце. Видимо-невидимо!

Вдруг Машенька увидела самоё королеву. Она её узнала сразу. Это была самая красивая зубная щётка — жёлтая, прозрачная. На ней была корона.

И королева зубная щётка увидела Машеньку.

— Подойди-ка сюда! — велела она.

Машенька совсем оробела. Ох, что будет, если королева зубная щётка узнает, что свою зубную щётку она бросила на пол?

— Подойди, подойди сюда, — снова позвала строгим голосом зубная щётка.

У Машеньки сильно забилось сердце. На она всё-таки подошла.

— Будешь теперь умываться? — спросила зубная щётка Машеньку.

— Буду, — шёпотом ответила Машенька.

— А причёсываться?

— Тоже буду.

— А зубы чистить?

«Ой, сейчас спросит про зубную щёточку!» — подумала Машенька и быстро. Скороговоркой сказала:

— И зубы я буду теперь чистить.

— Утром и вечером, — напомнила королева зубная щётка и добавила: — Возьми себе этот носовой платок.

— Спасибо, — вежливо поблагодарила Машенька и уже хотела положить платок в карман передника...

И вдруг, откуда ни возьмись, сквозной ветер. Платок взвился, полетел. Вместе с ним и Машенька. А вместе с Машенькой и гребешок. Всё выше. Выше. В облака.

И не успела Машенька опомниться, как вот... она уже у себя дома, а бабушка ей говорит:

— До чего же у меня большая и умная внучка! А как хорошо научилась сама причёсываться, умываться и чистить зубы! Такую можно и в детский сад отправлять!

С этих пор Машенька сама придвигала табуретку к раковине, сама влезала на неё, сама откручивала кран, брала своё мыло и умывалась дочиста. А потом брала гребешок и причёсывалась. Только косички ей заплетала бабушка или мама.

Косички-то плести не так просто!

А свою новую зубную щётку она поставила в голубую кружку и каждое утро говорила:

— С добрым утром, щёточка!

И никогда не забывала чистить зубы.

1962 год.

И. М. Меттер

Челюсть

Студентка второго курса медицинского института Таня Березина держала в руках череп и, заглядывая в учебник, экзаменовала свою подругу Марусю Фомину. Был одиннадцатый час ночи, девушки уже давно устали после целого дня лекций и непрерывной домашней зубрежки; прибежав из института, они наскоро проглотили еду и вот уже часа четыре подряд экзаменовали друг дружку, готовясь к завтрашнему зачету.

— Больше невозможно, Танька! — простонала Маруся Фомина. — Я уже ничего не соображаю... Все равно мы провалимся...

— Возьми себя в руки! — сказала Таня. — Не распускайся... Хочешь крепкого чаю?

Она налила подруге и себе черного чаю из чайника, стоявшего на полу, весь стол был завален раскрытыми книгами и конспектами; девушки быстро, залпом выпили этот страшный напиток и продолжали зубрить.

В углу комнаты возился пятилетний брат Тани — Петька. Ему уже давно полагалось идти спать, но он заигрался, а старуха нянька разговаривала в соседней комнате с зубным техником Осипом Андреевичем. Осип Андреевич жил в этой же квартире и еще месяца полтора назад обещал няньке сделать по дешевке вставную челюсть. Старуха накопила денег, и сегодня техник принес ей после работы обновку.

— Прикус у вас теперь будет правильный, — говорил он няньке, залезая ей толстыми пальцами в рот. — Остерегайтесь только, бабуся, жевать свежий теплый хлеб: он очень липнет к пластмассе и может отодрать пластинку...

— А сухари? — спросила нянька каким-то не своим голосом, оттого что весь рот оказался вдруг переполненным и растянутым. — Твердые тела можно, — сказал техник. — Дугообразное построение неба придает пластмассе крепость. Только, конечно,

не набивайте рот до отказа. Пожуйте сейчас при мне что-нибудь для пробы. Нянька взяла из буфета кусок колбасы. — Ну как? — спросил Осип Андреевич. — Смелее, смелее, бабуся!..

С настороженным лицом няня ела колбасу. Деньги, приготовленные для расплаты, она держала зажатыми в мокром кулаке.

— Можете посмотреться в зеркало, — предложил ей техник.

Старуха отдала ему деньги, и он ушел. Она посмотрелась в зеркало, постучала новыми зубами, растерянно улыбнулась сама себе и перекрестила рот. Войдя в комнату к Тане, няня сказала: — Танечка, посмотри, какие мне Осип Андреевич зубы сделал.

Таня рассеянно посмотрела и обратилась к Марусе: — Вот завтра нас как спросят строение челюсти, а мы даже в конспект не заглядывали... Я лично сегодня спать ни за что не лягу!..

Забрав Петьку, няня увела его спать. Раздеваясь, он с любопытством посматривал на нее: у нее было чужое лицо и чужой голос. С непривычки он даже обратился к ней на «вы»:

— Вы только обязательно разбудите меня, когда Мишка утром придет: он обещал перед школой забежать.

Миша жил в этом же доме и учился во втором классе. Несмотря на то что он был года на три старше Петьки, они дружили. Дружба, правда, со стороны Петьки была немножко подобострастная: он все время боялся потерять своего старшего приятеля и иногда заискивал перед ним.

Утром они сидели во дворе на скамейке и разговаривали; до школы оставалось два часа, — Миша учился во вторую смену.

— У меня сегодня времени мало, — сказал Миша. — Рассиживаться особенно некогда. — А что? — спросил Петька. — Ты не поймешь! — А ты скажи, я постараюсь... — Да экзамены у нас начинаются. Неохота двойки таскать: мать очень переживает.

— Конечно, — с жаром согласился Петька. — У меня Танька сегодня ночь не спала, у нее тоже экзамены. — Да какие у нее экзамены! — вздохнул Миша. — Они кости проходят, — сказал Петька. — У нас дома череп есть...

— Лошадиный? — спросил Миша. — Лошадиный я в деревне сколько угодно видел. — Человеческий, — ответил Петька. Миша взял себе за правило никогда не удивляться при своем

младшем приятеле; поэтому и сейчас он равнодушно пожал плечами и сказал:

— Наверное, из глины... Ну ладно, я пошел: мне надо деление целых чисел учить... — Это трудно? — с уважением спросил Петька. — Ужасно. Голова лопается... Он поднялся и, нацелившись, сплюнул на тоненькое деревцо, высаженное в дворовом палисаднике. Петька тотчас же попробовал проделать то же самое, но только замочил себе подбородок.

Миша презрительно на него посмотрел, устало потянулся и спросил: — Ты конфеты сегодня принес? — Принес... — Торопливо порывшись в кармане, Петька протянул другу две конфеты. Миша лениво взял их и, прочитав название, сказал: — Помадка.

Потом он лихо, не касаясь руками, перепрыгнул через скамейку, поддел по дороге ногой камешек и исчез в подворотне. Петьке стало сиротливо. Он тоже попробовал стукнуть ногой по камешку, но тот, вместо того чтобы взвиться, как у Мишки, прокатился по земле на шажок и остановился.

После обеда прибежали из института заплаканные Таня и Маруся. Таня сразу бросилась к телефону, попросила доктора Березину и, рыдая, закричала в трубку как сумасшедшая: — Мамочка, пять!..

Потом она схватила Петьку на руки, закружилась по комнате и упала вместе с ним на диван.

— Ты такой глупый, Петька, ты ничего не понимаешь!.. Погоди, погоди, — беспокойно сказала вдруг Таня. — Маруся, подойди-ка сюда, по-моему, у Петьки сыпь...

Подруги склонились над ним и стали рассматривать его шею. Таня взяла свой новенький стетоскоп, а Маруся надела на лоб блестящий металлический кружок с отверстием; вдвоем они помяли Петькин живот, послушали легкие, сердце и заглянули в глотку.

— Попробуем последнее, — сказала Маруся. — Симптом Пастернацкого.

Они перевернули Петьку на живот, Таня положила свою руку ему на поясницу, а Маруся крепко ударила по Таниной руке. — Дуры! — закричал Петька.

— Тебе было больно? — с надеждой в голосе спросила Маруся. Петька вырвался и удрал.

Он обошел квартиру, высматривая, что еще можно было бы подарить своему другу; нашел в буфетном ящике две висюльки от люстры, ломаный штопор, непочатую коробку талька; повертел в руках синий флакон, но стало так нестерпимо жаль отдавать его, что Петька закусил губу и положил флакон обратно в ящик.

Потом он посидел немножко на подоконнике, глядя во двор. Заползали во двор сумерки, они как будто вытекали из темной подворотни и разливались по всему двору. Земля была изрыта длинными извилистыми оврагами — в доме прокладывали газ. Лежали под окнами трубы. Петька подумал, что завтра надо попробовать в один конец трубы вставить пробку, а в другой дунуть изо всех сил. Если сидеть на дне оврага и иметь достаточный запас пробок, то можно отстреливаться очень долго.

По двору в большой коляске высокий офицер провез своих тройняшек. Две девочки в синих одеялах лежали направо, а мальчик в сером солдатском одеяле лежал налево. Они появились в доме совсем недавно - с полгода назад. Оттого что их было трое в одной коляске, они выглядели ненастоящими. А когда офицер, вынимая их оттуда всех троих, прижимал длинными руками к груди и вносил в подъезд - это было уже совсем удивительно.

Петьку дня два назад попросили посторожить тройняшек, пока их отец бегал в квартиру за спичками. Забравшись на скамью, Петька заглянул в коляску, - они лежали с открытыми глазами и чмокали сосками.

— Вы чего? — тихо спросил Петька. Он знал, что в таком возрасте дети не разговаривают, но не очень верил в это. Мальчик скосил на Петьку глаз и вытолкнул языком соску на одеяло, словно собирался сейчас ответить. Петька подождал немножко, потом сказал: — Значит, правда не умеете, — и слез со скамьи... За окном быстро темнело. Промчался через весь двор кот и с маху вскочил на дерево. Соседский костлявый щенок подбежал к дереву и, встав на задние лапы, залаял во всю свою щучью пасть. Деревцо было тоненькое, и, если бы щенок догадался тряхнуть его передними лапами, кот

непременно свалился бы... Наконец Петьке надоело смотреть на эту глупую возню, он открыл форточку и крикнул дворничихе: — Тетя Надя, смотрите, куда ваш кот залез!.. В окнах на противоположной стене стали загораться лампочки. Сначала зажглось в том окне, где жил лысый охотник, — у него на стене были прибиты оленьи рога, а на столе стояла утка. Он часто проходил по двору в высоких, до живота, резиновых сапогах, с ружьем в коротком футляре за спиной. Петька бегал за ним до ворот и жалобно просил:

— Дяденька, выстрели!..

Зажглось окошко, где жил дядька, у которого была новенькая «Победа». На этой «Победе» Петька уже два раза катался и даже гудел в гудок. Трудно было только усидеть на заднем сиденье: все время мотало в разные стороны, и он валился набок.

Горела лампочка с самого утра у того странного дядьки, что всегда уходил со двора один, а домой его приносили. И к нему в гости ходил милиционер. Петька долго думал, что фамилия этого дядьки Ирод, потому что нянька так говорила: — Вон Ирод пошел... Или: — Вон Ирода уже понесли...

Засветилось окошко у тети Вари. Петька видел ее в цирке. Она сперва висела под самым потолком вниз головой, а потом прыгнула в туго натянутую сетку и долго в ней подскакивала, как мяч. Иногда тетя Варя выходит во двор вешать белье, и Петька всегда удивляется, зачем она спускается по лестнице, если может прямо из своего окна прыгнуть в палисадник.

Окна стали загораться по всей стене; во дворе сделалось от этого еще темнее. Миша все не шел из школы. Вошла в комнату нянька и повела Петьку ужинать. У него слипались глаза, и, чтоб ужин особенно не затягивался, нянька доела за него кашу и допила молоко...

Дня через два, утром, он проснулся от крика. Нянька бегала с пустым стаканом и кричала: — Вот здесь они лежали!.. Сама положила... Петька закрыл глаза и посопел немножко. До него донесся голос Тани:

— Нянечка, может, вы в другой стакан положили? — Что я, по-твоему, ненормальная!.. Я тебе говорю — тут они лежа-

ли... Осип Андреевич сам сказал, чтоб я постепенно привыкала... Я знаю, кто взял!.. Петька взял!.. Он меня в могилу сведет...

— Да зачем Пете ваша челюсть? — смеясь, спросила Таня.

— Ему все нужно... Ирод такой!.. Ты не смейся, тебе хорошо ржать, у тебя полон рот зубов...

— Да я не смеюсь, нянечка, — успокаивала ее Таня. — Сейчас мы у него спросим...

Она подошла к Петьке и наклонилась над ним. Он затаил дыхание. Таня тихо спросила: — Ты брал нянину челюсть? Петька открыл глаза и сказал: — С добрым утром. Я только что проснулся. — Куда ты девал нянину челюсть? спросила Таня.

— И не думал, — ответил Петька. Таня торопилась в институт, она крикнула на ходу, что позвонит маме, и убежала.

Петька, надутый от оскорбления и страха, долго пил чай; он дул в блюдце, чтобы там поднялись волны. Он хотел спросить няньку, который час: ему нужно было выяснить, долго ли еще ждать, покуда Миша вернется из школы, но у няньки сейчас ничего спрашивать нельзя было. Она шарила по углам комнаты, вываливая Петькины игрушки из коробочек и ящиков. Залетал тяжело над столом майский жук, выпущенный из спичечного коробка. Петька сделал вид, что ничего не замечает.

Среди дня прибежала вдруг мама, у нее из-под пальто свисал белый докторский халат. Она быстро одела Петьку, взяла его за руку и вышла на улицу. Он никогда с мамой не гулял и думал, что они пойдут сейчас в сквер. Но она свернула в другую сторону.

— Мам, куда мы идем? — спросил он.

— Просто не знаю, что с тобой делать, — ответила мама. — Чтоб у ребенка не было никаких сдерживающих центров!..

Рядом, гудя, мчались автомобили, ползли рогатые троллейбусы, проехала голубая тележка с мороженым. У подворотни стоял мальчик с увеличительным стеклом - прижигал себе пальто. На углу продавали воду с сиропом. У Петьки оборвалось сердце, когда он услышал, как продавщица спросила у какого-то паренька: — Тебе с двойным вишневым? — О господи! — сказала мама и дернула Петьку за руку. — Если бы я в принципе не была против телесных наказаний, я бы тебя непременно сейчас выпорола!..

Они вошли в огромную, как ворота, дверь, поднялись по широкой лестнице, перила которой были усеяны блестящими металлическими шишечками. Потом начался длинный коридор; мама открыла еще одну дверь и ввела Петьку в большую светлую комнату. Здесь за столом сидела какая-то тетя, лица ее не было видно, она сидела спиной к окну.

— Я бы хотела видеть директора школы, — сказала мама.

— Вы по поводу разбитого стекла? — спросила тетя. — Нет, — ответила мама.

— Тогда вам придется немножко обождать. Сейчас у директора только те, кто по поводу разбитого стекла.

Мама села на стул у стены, по-прежнему держа Петьку за руку. Пока он осматривался, из дверей, обитых клеенкой, вышло несколько человек. Дядька в желтом кожаном пальто громко сказал своим спутницам:

— Я могу уплатить за стекло, но моральной ответственности нести не обязан...

— Ваш сын ведет себя очень плохо, - сказала тетя, сидевшая у окна.

— А с вами я вообще не желаю разговаривать, — ответило кожаное пальто. — Еще секретарши будут мне указывать!..

— Это грубость, - спокойно сказала тетя. Мама поднялась и вошла с Петькой в дверь, обитую клеенкой. Он сразу догадался, что мужчина, вставший из-за стола им навстречу, — директор школы.

— Простите за беспокойство, — сказала мама. — Я участковый врач. В вашей школе учится мальчик из нашего дома, Миша Козырев...

— Во втором «А» классе, — сказал директор.

— Да-да, — обрадовалась мама. — И у меня есть подозрение, что у него находится зубной протез моей няни.

— Вот так история! — сказал директор школы. — Ничего не понимаю... Зачем Мише понадобился протез вашей няни... Молодой человек, сними шапку, — обратился он к Петьке.

Петька испуганно сдернул с головы шапку, а мама сказала:

— Это мой сын — Петр. У меня совершенно не хватает времени заняться вплотную его воспитанием. Вообще-то он хоро-

ший ребенок, но у него не в порядке нервы. Это я говорю не как мать, а как врач...

— Пусть-ка он выйдет из кабинета, — сказал директор. — Пойди в ту комнату и скажи Марье Ивановне, что я просил показать тебе альбом нашей школы.

Петька вышел в соседнюю комнату. Марья Ивановна дала ему тяжелый большой альбом и усадила за стол рядом с пишущей машинкой.

Он перелистывал фотографии, на которых были сняты мальчики то с пионерским горном, то с барабаном; горел костер, с берега мчалась в реку ватага мальчиков, рты у них были на бегу широко разинуты, — должно быть, они сильно кричали...

— Миша Козырев, — услышал вдруг Петька голос Марьи Ивановны, — тебя вызывает Николай Семенович. Пройди к нему в кабинет.

Петька поднял голову и увидел Мишу. В этой комнате Миша был какой-то совсем маленький. Он посмотрел на Петьку до того слепым взглядом, что Петька ткнул себя в грудь пальцем и сказал: — Миша, это я... Ты уже сдал экзамены? Миша ничего не ответил, застегнул ворот рубахи и вошел в кабинет, забыв закрыть за собой дверь. Через минуту оттуда раздался громкий голос директора:

— Марья Ивановна, попросите, пожалуйста, молодого человека сюда.

В кабинете мама сидела в кресле под большими часами. Миша стоял перед столом директора. Петька подошел и стал рядом.

— Значит, вы живете в одном доме? — спросил директор.

Петька радостно кивнул головой. — А тебе не скучно дружить с таким взрослым мальчиком? — спросил его директор.

— Нет, — ответил Петька и боязливо посмотрел на Мишу. Тот стоял молча, с хмурым лицом.

— И теперь у меня есть вопрос к тебе, Миша Козырев, — сказал директор. — Не получаешь ли ты от своего маленького приятеля подарки?

— Он мне конфеты давал, — ответил Миша таким странным голосом, что Петька удивился. — Я у него не просил, он сам навязывается...

Директор покачал головой.

— Зачем же ты обижаешь своего товарища?.. — Я всегда была против этой неравной дружбы, — быстро сказала мама.

— Ну, а кроме конфет он тебе что-нибудь давал? — спросил директор.

— Разную чепуху, — ответил Миша. — Он же совсем глупый, ничего не понимает.

— Я тебя попрошу, Козырев, — повысил голос директор, — в моем кабинете не оскорблять моих гостей.

И положи сейчас же на стол то, что ты получил вчера от своего бывшего товарища.

Миша порылся в карманах и выложил на стол синий флакон без пробки, два новеньких длинных гвоздя, испорченное вечное перо, револьвер-пугач и какой-то маленький бумажный пакетик. Директор взял пакетик, развернул его — там лежала нянина челюсть.

— Горе мое! — сказала мама. — Зачем ты это сделал?..

— Я у него не просил, — вредным, плаксивым голосом сказал Миша. — Я даже не разворачивал это... Честное пионерское, Николай Семенович... Из-за такого пацана неприятности...

— Иди, Миша Козырев, — приказал строго директор. — Я с тобой потом поговорю.

Миша вышел из кабинета. Петька стоял как оглушенный.

— Зачем же ты все-таки сделал это? — услышал он голос директора.

Пытаясь изо всех сил не заплакать, Петька ответил: — Я думал... у Миши экзамены... У Тани тоже экзамены... У них с Марусей целый череп есть, а у Миши нету... Я думал — он двойку получит...

Дальше он говорить не смог и бросился к маме; на душе у него было ужасно горько оттого, что сегодня он впервые в жизни потерял друга.

Уильям Джойс
(перевод Д. Ю. Кузнецовой)

Отрывок из сказки «Тусиана. История зубной феи»

Века за веками королева Тусиана летала на магических сферах в окружении своих шести уменьшенных копий — зубных фей. Они приземлялись в кроватки ребят, которые оставляли под подушкой свои выпавшие молочные зубы, и загадывали желание — каждый раз оно оставалось неизменным: дети должны вырасти добрыми и счастливыми. Во всех деревнях, городах и джунглях Азии детвора знала — выпавшие молочные зубы нужно класть под подушку. Забрав его, фея оставит подарок, а зуб будет вечно храниться во дворце летающего слона в Пунджам Хи Лу, пока не понадобится вновь.

Тусиана любила проводить время у детских кроваток, поправляя сбившиеся во сне одеяльца, шепча волшебные слова надежды в уши спящих малышей. Ей нравилось подглядывать в окно, когда ребята просыпались по утрам и с радостными криками обнаруживали под подушками подарки — счастье детей для королевы фей стало бесценным сокровищем.

Но ей хотелось помочь всем детям на Земле, хотя было и не под силу облететь планету. С тех пор как Тусиана поняла, что драгоценные камни лишь разжигают в людях зависть, в обмен на зубы она стала оставлять мелкие монетки или ничего не стоящие безделушки. Монеты! Как же полюбили дети получать их! Но чем больше появлялось стран на карте, чем сложнее становились их экономические отношения, тем больше национальных валют изобреталось и тем больше требовалось от Тусианы и ее маленьких помощниц изобретательности и... времени. Даже всемером они сбивались с ног, чтобы успеть до рассвета.

Несмотря на то что летающая девочка каждый раз спешила и оставляла подарки под подушками детворы практически на скорость, ее присутствие странным образом успокаивало ребят. В то ужасное время, когда Бука еще рыскал по Земле и детей мучали кошмары, Тусиане приходилось работать еще больше, еще усерднее, еще самоотверженнее. Но теперь, к счастью, Короля кошмаров в подвластных ей землях давно не было видно, и уже много месяцев Зубная Королева не беспокоилась за сны детей.

Г. Б. Остер

Вредные советы

Когда тебя родная мать
Ведет к зубным врачам,
Не жди пощады от нее,
Напрасных слез не лей.
Молчи, как пленный партизан,
И стисни зубы так,
Чтоб не сумела их разжать
Толпа зубных врачей.

Сью Таунсенд

Страдания Адриана Моула

5 апреля, четверг

Проснулся в четыре утра от жуткой зубной боли. Проглотил шесть таблеток детского аспирина. В пять утра разбудил родителей и сообщил о своих нестерпимых страданиях.

— Сам виноват, — прогундел отец. — К зубному нужно ходить. Тебя три раза записывали, а ты все волынил.

В полшестого попросил папу отвезти меня в неотложку, а он только на другой бок перевернулся. Ему-то плевать, у него своих зубов не осталось.

Сидел на кровати и смотрел, как светлеет небо. Везет же птицам, у них зубов вообще нет. Когда они завели свой галдеж, я дал зарок ходить к дантисту четыре раза в год.

Проснулся в девять. Вернее, мама разбудила и сказала, что записала меня к зубному "с острой болью". Зуб уже прошел, поэтому к этому извергу решил не ходить.

16 апреля, пятница

Проснулся в три ночи. Зуб разболелся со страшной силой — никакой мочи терпеть. Собрал все мужество, чтобы страдать молча, но не удержался и завыл. Наверное, очень громко, потому что папа ввалился ко мне и приказал умолкнуть. Никакого сострадания к человеческой беде. Родной сын терпит муки, а ему все до лампочки. Главное — выспаться перед чисткой канав. У себя в спальне отец поскользнулся на "Космополитене", который мама, по своему обыкновению, бросила на пол. От папиной ругани проснулся пес, поднял лай и разбудил маму. Потом птицы, гады, закаркали. Короче, мне так и не удалось сомкнуть глаз. Второе утро подряд наблюдал, как бледно-серые пальцы рассвета раздвигали ночную мглу.

17 апреля, суббота

Остался в постели. Зуб болит дико.

От родителей сочувствия не дождешься. Талдычат как заведенные: “Надо было пойти к зубному, надо было пойти к зубному”.

Позвонила Пандора, завтра обещала заскочить. Спросила, что мне принести. Я заикнулся о батончике “Марса” — самое то для больного человека. А она говорит (между прочим, могла бы и поласковее):

— Совсем чокнулся, Адриан? У тебя и так все зубы сгнили!

Пес целый день скулил под воротами Мици. Оголодал, бедняга. Ко всему прочему, никто его сегодня не покормил.

* * *

16.00. Лишился переднего зуба! Дантисту, кретину австралийскому, лень было лечить, так он взял и выдернул. А потом еще, гад, завернул зуб в салфетку и сунул мне. На память! Я, конечно, возмутился:

— У меня ж теперь дырка!

— Переживешь. Уотфорд тоже с дыркой разгуливает. Уотфорду можно с дыркой ходить, а тебе нельзя?

Я учтиво спросил, когда вырастет новый зуб. Этот осел отвернулся и забубнил себе под нос. Кажется, обзываться стал — “англичашки, болваны чертовы”. Что-то в этом роде. А на вопрос, между прочим, так и не ответил.

Пока я плелся к двери, держась за замороженную челюсть, он успел еще одну подлянку подложить. Нанес удар в спину.

— Часто, — говорит, — вижу, как ты из школы возвращаешься. Сколько уже “Марсов” слопал, а-а? К тридцати годам без зубов останешься, малец, помяни мое слово.

С этих пор клянусь ходить из школы другой дорогой. Фиг он меня увидит.

20 апреля, вторник

Дожил. Теперь моей физиономии самое место на доске полицейских объявлений “Разыскивается преступник”. Адриан Моул — серийный убийца. Мама очень злится, прям буйствует. Написала дантисту письмо, чтоб вставил мне зуб бесплатно.

В школе что творилось — даже вспоминать не хочется. Барри Кент пустил по классу кликуху “Дырявый Моул”. Остальным только того и надо, давай зубы скалить! Даже Пандора поддалась на провокацию. Целый день держалась холодно, даже не заговорила ни разу. На физике послал ей записку: “Ты меня еще любишь?” Она ответила, что будет любить меня до тех пор, пока Гибралтар принадлежит Британии.

21 апреля, среда

В “Новостях” только что передали, что испанцы требуют вернуть себе Гибралтар.

22 апреля, четверг

С утра не нашел в себе сил показаться в школе с дыркой, поэтому не вставал до 12.45. Попросил маму написать объяснительную записку. Записку отдал мисс Фоссингтон-Гор перед вечерними занятиями. Она ее от злости чуть не разорвала. А когда прочитала, ткнула мне.

— Твоя мать по крайней мере не врет, как другие родители.

В записке говорилось:

Дорогая мисс Фоссингтон-Гор,

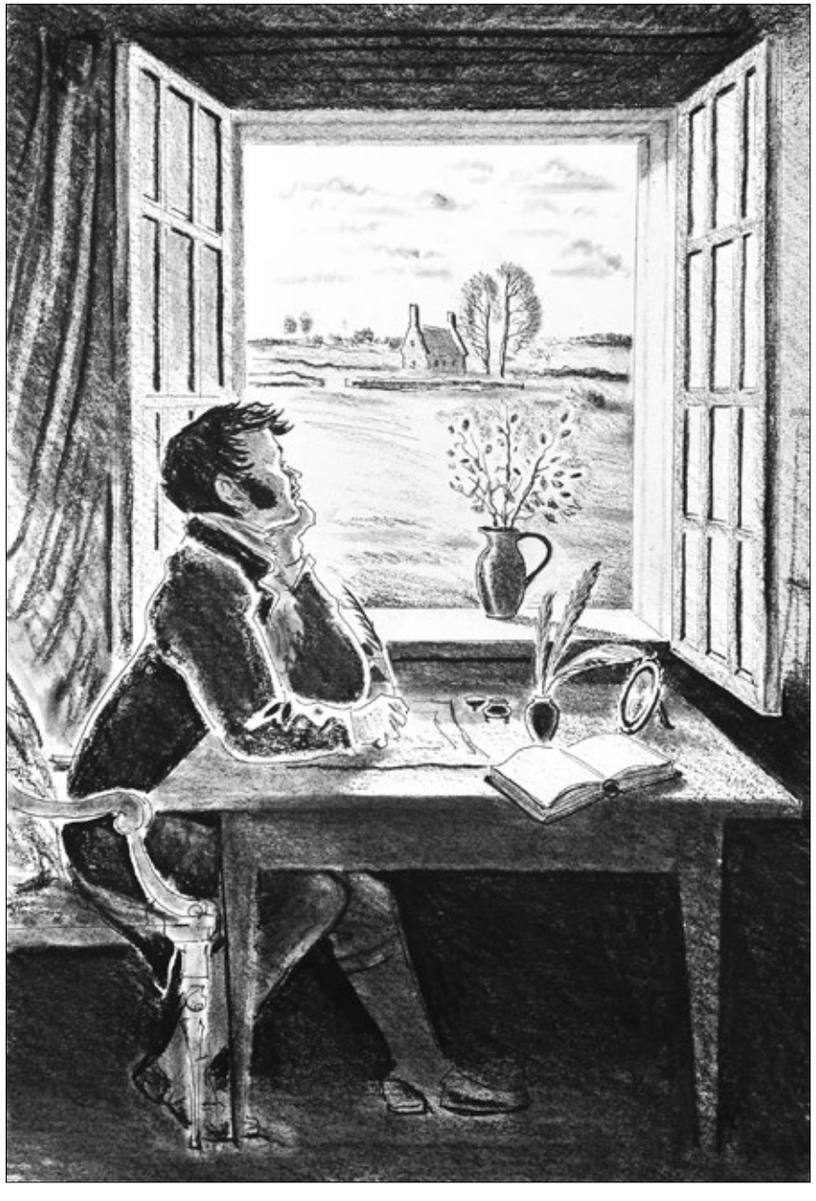
Адриан пропустил утренние занятия, потому что провалялся в постели до 12.45.

С уважением,

Полин Моул.

Теперь буду просить отца писать записки в школу. Он прирожденный враль.

Боль



Бернс Роберт
(перевод С. Я. Маршака)

Ода к зубной боли

Ты, завладев моей скулой,
Пронзаешь десны мне иглой,
Сверлишь сверлом, пилишь пилой
Без остановки.
Мечусь, истерзанный и злой,
Как в мышеловке.

Так много видим мы забот,
Когда нас лихорадка бьет,
Когда подагра нас грызет
Иль резь в желудке.
А рта боль - предмет острот
И праздной шутки!

Бешусь я, исходя слюной,
Ломаю стулья, как шальной,
Когда соседи надо мной
В углу хохочут.
Пускай их бесы бороной
В аду щекочут!

Всегда жила со мной беда -
Неурожай, недуг, нужда,
Позор неправого суда,
Долги, убытки...
Но не терпел я никогда
Подобной пытки!

И я уверен, что в аду,
Куда по высшему суду
Я непременно попаду
(В том нет сомнений!),
Ты будешь первою в ряду
Моих мучений.

О дух раздора и войны,
Что носит имя сатаны
И был низвергнут с вышины
За своеволье,
Казни врагов моей страны
Зубною болью!

1786 год.

Г. Попов

Русская народно-бытовая медицина
Суеверные средства против зубной боли

Среди суеверных средств против зубной боли некоторые представляют простое видоизменение тех, которые уже известны нам и имеют применение и при других болезнях. Таковы — могильная земля или щепочка от могильного креста: положенные на больной зуб, они мгновенно «снимают» зубную боль. Таков также способ пользоваться, в качестве лечебного средства, рукой мертвеца. Здесь, с небольшой модификацией, повторяется та же, что и при головной боли, формула: «у тебя кости онемели, онемей и у меня зуб». Хорошо и здесь, как при лихорадке, сходить на погост, найти человечью косточку, обвести ею три раза кругом больного зуба и отнести назад, положив так, как лежала. В случае невозможности достать такую кость, можно воспользоваться челюстью с зубами околелой свиньи или собаки, водя по больной щеке челюстью и приговаривая: «замри, замри, мой зуб больной, как эти зубы».

Но некоторые из средств имеют специальное применение только при зубной боли. Таков способ—браться зубами за притолоку и говорить: «крепка, крепка притолока, будут и мои зубы крепки». Произносить это нужно три раза и каждый раз плюнуть.

Лечебный способ — держать во рту сучок или щепку от порога и класть на больной зуб щепку, сколотую с дерева молнией, применяется только при зубной боли.

Есть и другие специальные средства против зубной боли, иногда довольно оригинальные. В Юхновском у-де (Смоленск, г.)

больной зубами обводит *уквачем*[1] с дегтем 12 раз вокруг больной щеки и бросает уквач за соседскую изгородь — зубы начинают болеть у соседа, а у него перестают.

В Череп—м у—де (Новгородск. г.) ищут в лесу шишку сосновую или еловую, вставленную в расщелину дятлом, берут ее зубами, не дотрагиваясь руками, и перебрасывают через голову. Если шишка будет переброшена удачно и не упадёт перед носом, то зубы заживут. В Васильсурском у-де (Нижегор. г.) больной на исходе месяца, тайком, идет вечером к рябине, кланяется 3 раза до земли и говорить: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, а я тебя до веку за это не буду есть»,— опять кланяется ей три раза, целует её ствол и три раза дотрогивается до него зубами. Такое лечение оканчивается дома: придя, больной ложится на печку вниз лицом и лежит так до свету.

Иногда целебные свойства приобретает простой серебряный гривенник. Он кладется на зуб и если почернеет, зубы больше болеть не будут. Также хорошо лечится зубная боль нашептыванием над чашкой с водой: тогда черви из больных зубов, будто бы, так и посыпятся в воду и зубная боль моментально пройдет (Карачевск. у. Орловск. г.).

Рекомендуется при зубной боли и испытанное русское средство от всевозможных болезней—водка:

«Болят зубы,
Открой губы,
Хорошенько протри
И снаружи, и внутри.
Возьми примочки
От винной бочки,
Чашечкой во рту сполосни,
А бутылочку во внутрь хлесни.
Луковицу припаси
И ею с хлебом закуси,
Теплой шубою укройся
И на печку заберись» (Черепов, у. Новг. г.).

[1] Уквач, квач (устар.) — помазок в дегтярнице (прим. ред.).

А. П. Чехов

Нытье. (Письмо издалека)

Милый друг! Сейчас только кончил с уборкой своей комнаты. Утомлен до мозга костей, рука плохо пишет и, тем не менее, сажусь за стол и спешу полакомить себя беседой с таким хорошим человеком, как вы. Вчера я переехал на житье в другую деревню, поближе к Красноярску, но адрес остается пока прежний. Изба у меня теперь просторная и сравнительно светлая, по 3 рубля в месяц с самоваром. Только во время топки бывает чадно, и ночью я чувствовал легкую тяжесть в голове. Хозяйка моя старая-престарая старушенция, глуха, глуповата и, по всем видимостям, староверка: по крайней мере, когда я курю, она чихает и не хочет со мной говорить. Житье мое по-прежнему хмурое, сонное и однотонное. День идет за днем, ночь за ночью. Впрочем, уже не так скучно, как было раньше. Я привык рано ложиться, учусь рисовать и выпиливаю всякие безделушки. Изредка попадаются газеты, которые я прочитываю с жадностью, не пропуская даже объявлений. Пробовал было от скуки написать свою «Исповедь», но получилась какая-то чепуха. Директор банка, прокурор и присяжные вышли у меня какими-то зверями, защитник — абрикосовской тянучкой, а сам я — барашком. Описание предварительного заключения вышло слезливо и натянуто... И к тому же, душа моя, описывать любовь, подчеркивать то обстоятельство, что растратил деньги не я, а любимая женщина, — это так пошло! Вы в последнем письме защищаете меня, но, странный вы человек, ведь не она была бухгалтером, а я! Впрочем, не будем говорить об этом...

Третьего дня получил от сестры Нади лукутинский портсигар и дюжину носков. Одновременно с посылкой пришло от нее письмо, в котором бедная девочка на четырех страницах беспокоится о моем здоровье. Успокойте ее, дружище. Скажите, что я жив и здрав, как бык. Уверяю и вас, что я здоров.

Говоря, что я не чахну и не кашляю, я, честное слово, нисколько не утрирую. Впрочем, в последнее время в моем организме проделываются какие-то непонятные странности, — не серьезные и, вероятно, нервного характера. Я не придаю им значения, но возиться с ними все-таки приходится. Со мною делается что-то вроде припадков. От них я не худею, но штука все-таки неприятная... Спросите-ка вы какого-нибудь московского доктора, чем мне от них избавиться? Описать вам свою болезнь в общих чертах едва ли сумею, но вот вам история и картина моего последнего припадка. Неделю тому назад, в ночь под среду, я вдруг проснулся от страшной зубной боли. Вы знаете, я всегда страдал зубами, но на этот раз мои зубы особенно отличились. Проснувшись, я едва очнулся от невыносимой боли... Стреляло во всю щеку и отдавало даже в руку. Я бегал, прыгал, плакал, — то прятал голову под подушку, то выставлял ее в холодные сени... Мысль, что мне негде и нечем лечиться, еще более усиливала мою муку... Я старался вспомнить, что я там у себя дома предпринимал в подобных случаях... Я вспомнил одеколон, йод, всякого рода эликсиры, спасительный коньяк, т.е. всё то, чего у меня здесь нет... Попросил я у хозяев водки, чтобы пополоскать зубы, но они не дали, солгав, что у них ее нет. Не могу, дорогой мой, передать вам всего того, что я выстрадал в эту ужасную, длинную ночь!.. Представьте вы себе потемки, угар, запах овчины... Время тянется, тянется, и нет ему конца, точно оно остановилось на одном месте. Около меня ни одной живой души... Круглое одиночество слышится в каждом моем шаге, в каждом стоне... Воспоминания страшны, надежд нет... А тут еще, точно желая показать свое равнодушие к моим страданиям, в темные окна монотонно и неласково стучит холодный осенний дождь... Друг мой, простите за сентиментальность: если когда-нибудь в такую ночь вам придется встретить больного, холодного, голодного, то, прошу вас, дайте ему приют! Не верьте тем, которые, сидя в теплых и светлых кабинетах, отрицают копеечную милостыню и временную помощь! Не отказывайте в пятаке на ночлег... (Последние строки зачеркнуты, но разобрать их все-таки удалось.) Не помню, как

рассвело и началось утро... Помню только, что и утром я плакал, прыгал и держался обеими руками за щеку. Обыкновенно моя зубная боль продолжается дня три-четыре, в этот же раз она кончилась гораздо раньше. Дело в том, что часу в девятом утра я получил от почтенного Осипа Ивановича, о котором я писал вам, несколько номеров газеты. (Он снабжает меня не только чайной посудой, но и газетами, которые в свою очередь получает из третьих рук.) В одном из этих номеров я увидел место, очерченное красным карандашом, вероятно, рукою услужливого Осипа Ивановича. Можете представить мое изумление! Это место касалось моей особы... В нем описывается, как бывший бухгалтер такого-то банка, осужденный за подлог и растрату, живет в ссылке... Из этого «слуха, сообщаемого нам из достоверного источника», я узнал, что я катаюсь на рысаках, выписываю для содержанок платья из Парижа, пью шампанское, как воду, вращаю судьбами клуба и т. д. Я, не имеющий глотка водки для больного зуба, считаюсь местным законодателем мод, заражаю округ своим распутством и наглостью, бравирую положением вора, много укравшего и умевшего спрятать! Вся эта ложь пересыпана такими лестными для меня эпитетами, как душка, хлыщ, валет, шулер и т. п. В общем, читатели приглашаются посетовать на слабость кары, посмеяться и плюнуть по моему адресу...

Прочел я этот «достоверный слух» раза три, точно не веря глазам своим... Человек я маленький, натура не крупная... Я не пренебрег, как бы следовало, не плюнул, а дал полную волю своей тряпичности. Со мной начался припадок. Сначала я заплакал горько и громко, как ребенок. Потом всего меня охватила злоба... Не помня себя, я, как бешеный, изорвал газету на мельчайшие кусочки, стал топтать ее ногами и посылать в воздух самые отборные, извозчицкие ругательства... Я бегал по всей избе, жаловался, топал ногами, стучал кулаками, ударил скамьей ни в чем не повинную собаку... Сознание полной беззащитности, воспоминания, тоска по родине, чувство погибшей молодости, зубная боль — всё это сконцентрировалось в одну тяжелую гирю, которая давила мой мозг и возбуждала

меня до ярости, до безумства. Помню, в конце концов я лежал на кровати и просил, чтобы меня не держали, что моей голове и без воды холодно... Зубной боли я уже не чувствовал — не до нее мне было...

И что у них за охота бить лежачего? Впрочем, не в них дело... Дня два после припадка я ходил, как разбитый, с головной болью и с ломотой во всем теле. Вот и всё. Спросите какого-нибудь из ваших знакомых эскулапов, что означают сии припадки и как от них избавиться? Если доктор по письму поймет мою болезнь, то пусть пропишет что-нибудь, буде пожелает; вы же купите лекарство и вышлите мне его, взяв денег на расходы у сестренки. О моих припадках Наде — ни полслова.

Пришлите в письме почтовых марок. Послезавтра день моего рождения. Мне стукнет ровно 28 лет. В эти годы добрые люди едва только науки кончают, а я на манер «нашего пострела», который всюду поспел, ухитрился уже пройти — всю жизнь от аза до ижицы: и науки кончил, и своим домом жил, и под судом был, и в Сибирь попал... Бывают же на свете такие редкие, даровитые натуры! И то сказать: одному талант, другому два, а иному кукиш с маслом. Если вздумаете расщедриться, то денег мне не присылайте. Пришлите лучше табаку, чаю по возможности не плохого и каких-нибудь духов (голубчик, английских!). Теперь только вижу, до какой степени я избалован. Например, меня всего коробит от того, что я пишу на дешевой почтовой бумаге... Мне как-то странно, что бумага не гибка, не лоснится и не пахнет тем незабвенным ветерком, который вносила с собой всегда N-е, когда приходила ко мне...

Однако прощайте. Не забывайте и пишите. Крепко жму руку.

Весь ваш N. N.

С подлинным верно: А. Чехонте.

1886 год.

А. П. Чехов

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он наковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

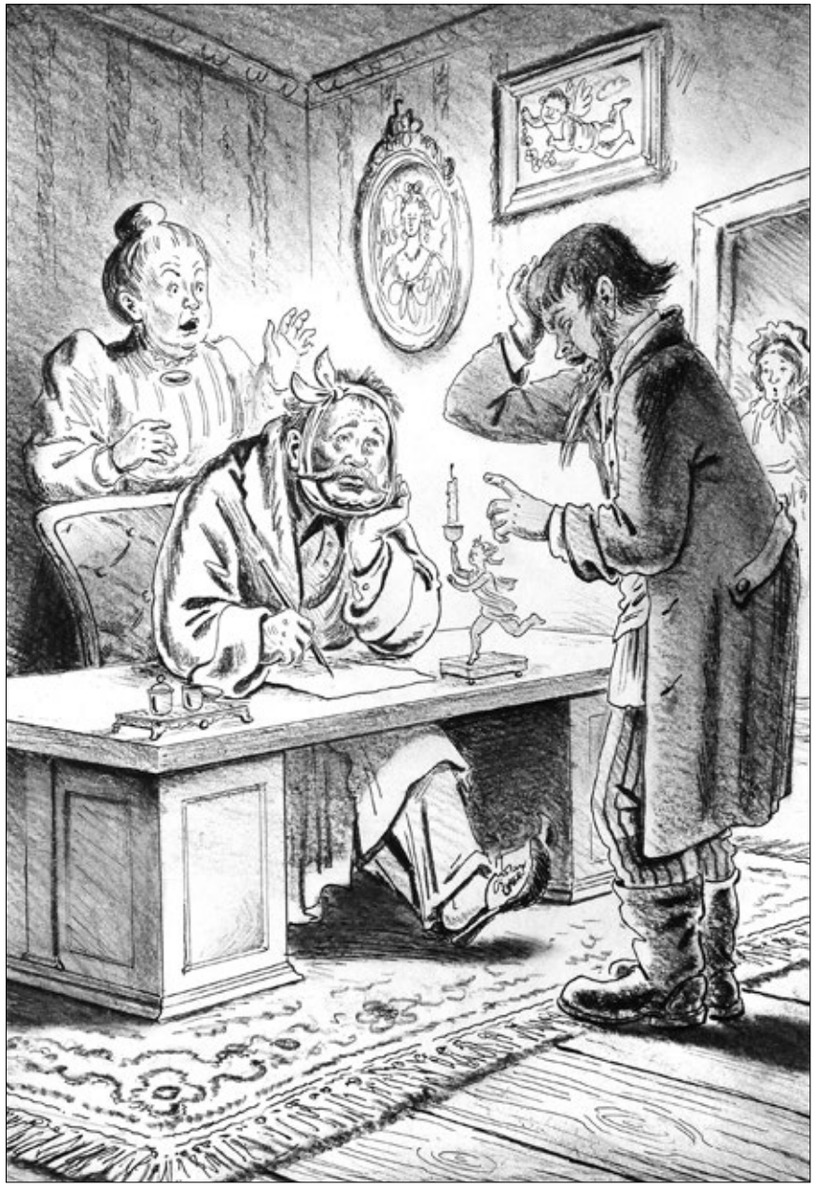
— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели, у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.



— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к чёрту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Чёрт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, чёрт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

1885 год.

А. П. Чехов

Ах, зубы!

У Сергея Алексеича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы.

По мнению опытных дам и московских зубных врачей, зубная боль бывает трех сортов: ревматическая, нервная и костоедная; но взгляните вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам чёрт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом...

— Да помогите же мне! — кричит он, топая ногами. — Застрелюсь, чёрт вас возьми! Повешусь!

Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой, мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином; сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами, тетенька вымазала ему десны йодом... Но от всех этих средств он провонял лекарствами, поглупел и стал орать еще громче... Остается одно только неиспробованное средство — пустить себе пулю в лоб или, выпивши залпом три бутылки коньяку, обалдеть и завалиться спать... Но вот наконец находится умный человек, который советует Дыбкину съездить на Тверскую, в дом Загвоздкина, где живет зубной врач Каркман, рвущий зубы моментально, без боли и дешево — по своей цене. Дыбкин хватается за эту идею, как пьяный купец за перила, одевает пальто и мчится на извозчике по данному адресу. Вот Садовая, Тверская... Мелькают Сиу, Филиппов, Айе, Габай... Вот, наконец, вывеска: «Зубной врач Я.А. Каркман». Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем взбегает наверх по каменной лестнице. Давит он пуговку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный ноготь.

— Дома? Принимает? — спрашивает он горничную.

— Пожалуйте, принимают...

— Уф! Снимай пальто! Скоррей!

Еще минута, и, кажется, голова страдальца окончательно лопнет от боли. Как сумасшедший, или, вернее, как муж, которого добрая жена окатила кипятком, он вбегает в приемную, и... о ужас! Приемная битком набита публикой. Бежит Дыбкин к двери кабинета, но его хватают за фалды и говорят ему, что он обязан ждать очереди...

— Но я страдаю! — кипятится он. — Чёрт возьми, я переживаю ужасные минуты!

— Мало ли что! — говорят ему равнодушно. — Нам тоже не весело.

Мой герой в изнеможении падает в кресло, хватается за обе щеки и начинает ждать. Его лицо точно в уксусе вымыто, на глазах слезы...

— Это ужасно! — стонет он. — Ох, уми-ра-а-ю!

— Бедный молодой человек! — вздыхает сидящая возле него дама. — Я страдаю не меньше вас: меня родные дети выгнали из моего же собственного дома!

Никакая финансовая передовая статья, никакой спектакль с благотворительного целью не могут быть так возмутительно скучны, как ожидание в приемной. Проходит час, другой, третий, а бедный Дыбкин всё еще сидит в кресле и стонет. Дома давно уже пообедали и скоро примутся за вечерний чай, а он всё сидит. Зуб же с каждой минутой становится всё злее и злее...

Но вот проходит мучительная вечность и наступает очередь Дыбкина. Он срывается с кресла и летит в кабинет.

— Бога ради! — стонет он, падая в кабинете в кресло и раскрывая рот. — Умоляю!

— Что-с? Что вам угодно? — спрашивает его хозяин кабинета, длинноволосый блондин в очках.

— Рвите! Рвите! — задыхается Дыбкин.

— Кого рвать?

— А, боже мой! Зуб!

— Странно! — пожимает плечами блондин. — Мне, г. шутник, некогда, и я прошу вас сказать: что вам угодно?

Дыбкин раскрывает рот, как акула, и стонет:

— Рвите, рвите! Кто умирает, тому не до шуток! Рвите, бога ради!

— Гм... Если у вас болят зубы, то отправляйтесь к зубному врачу.

Дыбкин поднимается и, разинув рот, тупо глядит на блондина.

— Да-с, я адвокат!.. — продолжает блондин. — Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Каркману. Он живет этажом ниже...

— Э-та-жом ни-же? — поражается Дыбкин. — Чёрт же меня возьми совсем! Ах, я скотина! Ах, я подлец!

Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно: пустить себе пулю в лоб... если же нет под руками револьвера, то выпить залпом три бутылки коньяку и т. д.

1886 год.

В. С. Шефнер

Записки зубовладельца

1. Ночное пробуждение

Милостивые граждане!

Если размышлять о зубах в мировом масштабе, то получаются весьма обнадеживающие цифры. По данным статистики, население нашей уважаемой планеты перевалило за три миллиарда душ. А чем больше людей — тем больше зубов. Откинем стариков, которые уже не имеют зубов; откинем младенцев, которые еще не имеют зубов; не будем брать во внимание инопланетчиков антропоидного типа, тайно заброшенных на нашу Землю, ибо количество их, как мы знаем, весьма незначительно. Будем упрощенно считать, что на планете имеется ровно 3 000 000 000 законных зубовладельцев и что каждый из них носит положенные ему природой 32 зуба. Теперь произведем несложное умножение:

3 000 000 000 X 32 = 96 000 000 000

Вот сколько зубов у человечества! Ему есть чем гордиться! Эти величественные, вдохновляющие цифры не оставляют места для пессимизма!

В моей жизни зубы сыграли решающую роль.

Случилось это в те давние довоенные времена, когда в Ленинграде моста Александра Невского еще и в проекте не было, а Володарский мост только проектировался; в те времена, когда почти все дома отапливались дровами, а в кухнях гудели примуса. А я в те давние времена уже полностью существовал на свете. Я был молод, холост и хоть учился на втором курсе Деревообделочного техникума, но подозревал, что будущее мое заключается в поэзии. В стенгазете я уже успел поместить два стихотворения. Одно называлось так: «Поменьше стружки, друзья и подружки!» В нем я боролся за уменьшение древес-

ных отходов. Второе было узколирическое и называлось «Ночь на Мадагаскаре».

В тот субботний вечер в комнате общежития было очень тихо. Все три моих однокомнатника отсутствовали по неуважительным причинам. Пользуясь тишиной, я полностью окунулся в творчество. Я начал писать балладу на историческую тему, в которой решил разоблачить графа Анжуйского. Начиналась она так: «Жил на свете граф Анжуйский, у него был нрав буржуйский». Однако, за отсутствием дальнейших фактов и улик, я решил отложить работу на утро. Улегшись на койку, я вынул из тумбочки брошюру «Как избавиться от застенчивости». Я штудировал ее ежедневно, так как страдал недооценкой своей личности. Вскоре книжечка незаметно выпала из моих рук, я уснул.

Проснулся я от острой зубной боли.

Я стал метаться по комнате, держась за левую щеку. Ходики на стене показывали четверть второго. Я вспомнил, что в прошлом году зимой у меня тоже ночью заболел зуб. Я тогда побывал на Невском, в зубной поликлинике, где есть ночное дежурство. Опять туда?

Когда я спустился по лестнице к вахте, вахтерша беспрепятственно открыла мне дверь: по моему искаженному страданьем лицу было видно, что я иду на улицу не с аморальными целями.

Общежитие находилось на Васильевском острове. Невский же проспект расположен на другом берегу Невы. Так как никакого транспорта в этот час уже не было, я решил повторить свой зимний пешеходный маршрут: Шестая линия — мост Лейтенанта Шмидта — площадь Труда — бульвар Профсоюзов — улица Герцена — Невский.

Был конец мая, когда намечаются белые ночи. Я шел по панели ровным крейсерским ходом, левой рукой держась за щеку, а правой размахивая в такт шагам. По случаю прохладной погоды гуляющих было мало. Недалеко от кино «Форум» меня окликнула дворничиха, поохала и дала такой совет: если у тебя срочно заболел зуб, иди весной в поле, найди фиалковый корень, высуши его в тени, растолки в ступке и смешай с бурой, которой выводят тараканов. Смесь прими внутрь с молитвой.

У Большого проспекта меня задержала парочка влюбленных. Прервав поцелуи, она и он дали мне по зубоврачебному совету.

Знаю, знаю — многие не любят добрых людей, дающих им устные зубоврачебные рецепты. В средние века зубным советникам грозила плаха. В Древнем Египте за неквалифицированную зубную помощь бросали в воды Нила. Подплывал дежурный крокодил и карал зубного советника съедением (из-за этого-то и стали там крокодилы священными животными). В наше время человек вспорхнул на вершины цивилизации, он имеет отличные бормашины и лекарства — но не вымирает племя зубных советников!

Но я на них не в обиде. Наоборот, я им благодарен... Слушайте, что было дальше.

Когда я вышел на набережную, то увидел, что у моста Лейтенанта Шмидта стоит группа людей. То были опоздавшие! Мост только что развели. Приди я на пять минут раньше — и я бы спокойно перешел на другой берег. Советники зубные, встретившиеся мне на пути, похитили у меня эти минуты. Не предвидя счастливых последствий этого опоздания, я выругался и перестроил свой маршрут. Теперь он стал таким: Университетская набережная — Дворцовый мост — Невский.

Я зашагал по направлению к сфинксам. В этот момент от группы, стоявшей с моста, отделился пожилой мужчина и пошел рядом со мной. Он держался за правую щеку. Все было ясно без слов: ко мне примкнул мой безвестный собрат по зубному страданью. Сомученик кратко поведал мне, что он из Гавани, и мысленно я прозвал его Гаванцем.

Когда Дворцовый мост был уже близок, мы увидели, что пролеты его начинают подниматься. Увы, началась разводка. Опять опоздали.

У меня вырвалось скорбное проклятье. Гаванец застонал.

После тяжелого раздумья я предложил новый маршрут: Биржевой мост — пр. Максима Горького — Кировский мост — Марсово поле — Садовая улица — Невский. Гаванец выразил свое согласие мычанием, и мы двинулись мимо Ростральных

колонн к Малой Неве. Здесь к нам присоединилась старушка в черном пальто. Она держалась за левую щеку. У нашей новоявленной сестры по страданьям был неплохой шаг. Однако, когда мы вплотную подошли к Биржевому мосту, там уже поставили барьеры, и милиционер свистками оттонял пешеходов. Середина моста начала как бы горбиться; обе половины разводной части плавно поднимались.

Тут Старушка, не обращая внимания на свистки милиции, бросилась к барьеру, перелезла через него и помчалась вперед по дощатому настилу. Мы последовали ее примеру. Теперь мы все трое бежали по шершавым доскам безлюдного моста. Старушка лидировала. Полы ее длинного пальто развевались; она походила на самолет, набирающий скорость перед взлетом. Внезапно передо мной разверзлась бездна, на дне которой блестела вода. Я напряг силы — и, оторвавшись от края пропасти, перемахнул на другую сторону моста.

Уважаемый Читатель, если б зуб у меня не болел, я бы ни за что не решился на такой прыжок! Не наводит ли это Вас на мысль, что зубная боль стимулирует физические силы и творческие способности человека?

О зубах существуют превосходные рассказы, анекдоты, а также масляные полотна и художественные кинофильмы. Но не пора ли поднять зубы на принципиальную высоту и выявить их коренную роль в развитии цивилизации?

Начну с мрачных отдаленных времен. В Библии сказано следующее: «Каин убил Авеля». Никаких разумных объяснений действию Каина не дается. Убил, мол, — и все. Заинтересовавшись этим странным фактом, я выяснил, что Авель в тот день с утра маялся зубами. Его стоны и жалобы слышал Каин. Он глубоко сочувствовал страждущему младшему брату, но ничем не мог ему помочь, так как лекарств и зубоврачебных инструментов в те времена не имелось. Наконец, когда Авель слезно стал умолять братана принять какие-нибудь меры, Каин решился прибегнуть к общему обезболиванию. Это была первая медицинская помощь в истории человечества. Правда, прошла она не совсем гладко. Но, так или иначе, цель была достигнута: зубы

у Авеля болеть перестали. В связи с этим пора пересмотреть отношение к Каину.

Но не только медицина возникла благодаря зубам. Давайте нырнем в глубокую древность и проследим зарождение песни. У одного первобытного мужчины однажды заболел зуб. Мужчина стонал и выл от боли и вдруг заметил, что если стонать и выть ритмично, то боль несколько смягчается. Через день она прошла сама по себе. А еще через несколько дней охотник вернулся с неудачной охоты и был в большой грусти. Но, вспомнив, что ритмичный вой помог ему однажды, он повторил его и в этом случае. И на душе стало легче. После этого он стал выть при всякой возможности и передал свой творческий опыт детям и внукам. Так в мире возникла песня.

Но довольно примеров. И без того ясно, что вся цивилизация покоится на зубах.

2. Пополнение рядов

Когда мы перешли на Петроградскую сторону, из подворотни выбежал молодой человек в бостоновом костюме, с цветком в петлице, но без галстука. У него было ошеломленное лицо. Он держался за щеку. Из его горестных возгласов стало понятно, что он — Новобрачный. Еще час тому назад он пировал на своей свадьбе, а затем уединился с молодой женой. Но внезапная острая зубная боль согнала его с брачного ложа и выгнала на улицу.

Теперь нас стало четверо.

Но едва мы миновали угол Гулярной улицы, как наша страдальческая группировка пополнилась сразу двумя новыми мучениками. Это были братья Близнецы. Им обоим исполнилось в этот день по шестнадцать лет. Родители отметили это событие, пригласив к братьям их школьных товарищей. Съедено было много сладкого, и ночью у обоих Близнецов заболело по зубу. Оба они держались за левые щеки, и оба были абсолютно похожи друг на друга, и на обоих были одинаковые вельветовые курточки. Только у одного на лацкане красовался значок в виде

парохода, а у другого — жетончик с изображением диснеевского поросенка. Брат-Пароход и Брат-Поросенок присоединились к нам, и дальше мы шагали уже вшестером.

У Введенской улицы к нашему мученическому коллективу примкнул еще один страдалец. В одной его руке был бубен, другой он держался за щеку. То был молодой Бубнист-Любитель. Зубная боль пронзила его на концерте самодеятельности во время сольного исполнения, и он спрыгнул с эстрады, выбежал на улицу и уже часа три мотался по городу. Он очень обрадовался, что мы знаем, где ночью лечат зубы. Боль иногда отпускала его, и тогда он принимался петь и бить в бубен, приплясывая при этом. Видимо, он хотел допеть ту песню, которую не успел исполнить на концерте:

Не прочь бы выпить, братцы, я.
Да денежки нужны. —
Но, ах, организации
Мне денег не должны!

Увы, этот кипучий самодеятель не принес нам счастья! Когда мы подошли с Кировскому мосту, уже шла разводка. Поздно, поздно... Эта очередная неудача повергла нас в глубокое смятенье. Но боль требует действий, и после короткого совещания наша группа приняла единогласное решение идти через Выборгскую сторону. Новый маршрут выглядел так: улица Куйбышева — Сампсониевский мост — Пироговская набережная — Литейный мост — Литейный проспект — Невский. Теперь мы шли не по тротуару, а по мостовой. Лидировала по-прежнему Старушка.

Но вскоре она уступила свое лидерство. Когда мы подходили к одному высокому дому, мы заметили, что с шестого этажа по водосточной трубе лезет вниз какой-то мужчина. Когда он благополучно слез, то сразу издал громкий стон и схватился руками за обе щеки. Выяснилось, что жена этого несчастного, отправляясь на ночную смену, в порядке ревности заперла комнату на ключ, а снаружи подперла дверь кухонным столом. Ночью у супруга заболел один зуб справа и один зуб слева. Не имея возможности выйти через дверь, бедняга, в поисках медицинской помощи, вынужден был вылезти через окно. Этот человек немедленно примкнул к нам и по праву возглавил шествие. Ведь то был не просто рядовой страдалец, а Сверхмученик.

Но и на нем не кончились наши пополнения. На подходе к набережной мы увидели мужчину, сидящего на каменной тумбе и держащегося за щеку. Одет он был во все новое, и, когда шевелился, с него так и осыпались магазинные ярлыки. Вокруг лежали различные вещи и предметы. То был Счастливец. Он жил в Гдове и выиграл там по займу пять тысяч. И вот минувшим утром он приехал на день в Ленинград, чтобы срочно реализовать эту крупную сумму. Весь день он мотался по универмагам, комиссионкам, толкучкам — и отчасти по пивным и ресторанам. Заночевал он у двоюродного брата. Ночью у Счастливца заболел зуб. Брат порекомендовал ему идти на Невский, в зубную поликлинику. Счастливец пошел, забрав с собой все вещи, ибо поезд в Гдов уходил ранним утром. Теперь Счастливец присоединился к нам. Он занял место в конце процессии, предварительно взвалив на себя все приобретения.

Среди них, в частности, были: керосинка, мясорубка, швейная машина, набор сковородок, патефон, ламповый радиоприемник, железный штырь для громоотвода и портрет основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы в золоченой раме. Портрет ему всучили на барахолке, строго заверив, что это изображен знаменитый физик Бойль-Мариотт.

Подойдя к Сампсониевскому мосту, мы обнаружили, что его готовятся развести. Но теперь нас было целых девять человек. Из страдальцев-одиночек уже выкристаллизовался боевой коллектив. У нас уже была своя иерархия и свой походный порядок. Поэтому, ведомые Сверхмучеником, мы отодвинули рогатки и барьеры, заграждавшие нам путь, и смело ступили на дощатый настил. Речной милиционер не только не протестовал, но даже отдал нам честь.

Разводка моста была отсрочена специально для нашего прохождения. Вскоре мы шагали по Выборгской стороне.

Когда мы проходили мимо небольшого сквера, к нам подошла плачущая девушка, державшаяся за правую щеку. Она робко спросила, где мы надеемся получить медпомощь. Узнав нашу цель, она присоединилась к нам. Мой общий вид, по-видимому, внушил ей доверие, потому что она сразу же пошла рядом со мной.

Несмотря на свое болезненное состояние, я не мог не отметить, что девушка весьма симпатична собой. Мысленно я прозвал ее Малюткой. От нее пахло дорогими духами «Не покидай». Ее белокурые локоны изящной волной выбивались из-под синего берета с алмазной пряжкой. В ее больших голубых глазах блестели слезы. На ее приятной фигуре имелись шерстяная розовая кофта и экономическая черная юбка фасона «долой стыд». Конечно, официально такого фасона не было, это название в те годы придумали пожилые женщины, завидующие своим молодым соперницам.

Малютка, постукивая по мостовой граненными каблучками, шла рядом со мной и доверчиво, сквозь слезы, рассказывала мне свой анамнез. Зуб заболел у нее среди ночи оттого, что она его простудила. Дрова в этом году плохого качества, очень много осины и мало сосны и березы. У нее есть один знакомый, он обещал доставить три кубометра сосны, но никаких других вольностей она ему не разрешает.

Речь ее, несмотря на страдание, звучала, как маленький серебристый водопад, и я даже не заметил, как мы дошли до Литейного моста.

Увы, его уже развели... Мы опоздали. Но отступать было некуда. Мы решили идти к Охтинскому мосту. Путь предстоял долгий.

...Мы шли по булыжной мостовой в строгом походном порядке. В тишине белой ночи шаги наши звучали гулко и тревожно. Изредка попадавшиеся прохожие с удивлением, переходящим в остолбенение, взирали на торжественно-скорбное шествие. Впереди, держась за обе щеки, шагал Сверхмученик. За ним шли в паре Старушка и Новобрачный. Следом двигался я с Малюткой. За нами топали Бубнист и Гаванец. Четвертую пару составляли Близнецы. Брат-Пароход нес на правом плече

штырь громоотвода, брат-Поросенок тащил портрет Игнатия Лойолы, доверенный ему Счастливцем. Сам Счастливец плелся в арьергарде. Все остальные покупки он нес на себе.

Он двигался тяжело, как корабль, груженный выше ватерлинии. Время от времени он вынужден был останавливаться, чтобы положить вещи на мостовую и подержаться за щеку.

3. Тайное задание

Охта в те времена была малолюдным местечком. Это сейчас там высятся огромные жилмассивы, а тогда там стояли маленькие домики, разделенные садами.

Когда мы проходили мимо одного длинного забора, мы почуяли запах сена и конского навоза. Затем увидели на воротах надпись: «Контора No 9 Ленгужтранса». Мы бы спокойно прошли мимо. если бы не Старушка. Она сказала:

— Конский навоз от зубов очень пользителен, от умных людей знаю. Если к щеке конское яблоко привязать — сразу полегчает.

Навозотерапия заинтересовала почти всех. Но пугали препятствия.

— Ворота закрыты, — сказал кто-то из страдальцев. — Ночь ведь.

— А перелезть через забор можно. На то Бог руки-ноги дал, — заявила Старушка. — Надо выделить добровольцев, и пусть себе лезут на здоровье. Греха тут нет, это святое дело.

Братья-Близнецы вызвались сами, но больше никто на это святое дело выделять себя не решался. Тогда опасная Старушка указала на меня и высказалась за голосование. Меня выбрали добровольцем. Только Малютка воздержалась. Зато Сверхмученик поднял сразу обе руки.

Тут Бубнист, у которого в этот момент наступила светлая безболевая минутка, ударил в бубен и запел, приплясывая:

Чтоб угостить приятеля,
Мне денежки нужны,
Меж тем как предприятия
Мне денег не должны!

Но его попросили замолчать, чтобы не разбудить конюхов.

— Нас десять душ, значит, должны вы десять конских яблок достать. Никого не обидьте! — проинструктировала Старушка добровольцев.

— Мне потребны два кругляша! — заявил Сверхмученик.

— А мне не нужно ни одного, — мягко сказала Малютка. — Я боюсь испортить цвет лица.

Все посмотрели на нее с осуждением, как на вероотступницу. Но я почувствовал к Малютке еще большую симпатию.

Близнецы, согнув спины, встали у забора. Я по их плечам поднялся вверх и, ухватившись за торцы досок, подтянулся. Переметнув туловище через верх забора, я уперся ногами в поперечную доску и по очереди подтянул к себе братьев. Мы одновременно спрыгнули внутрь двора, где стояли телеги. Из конюшни доносилось сонное топтанье лошадей. Крадучись пробрались мы туда и остановились у больших распахнутых дверей. Кони спали стоя.

Надо было приступать к выполнению задания, но тут возникла неожиданная закавыка. На полу конюшни имелся конский навоз в достаточном количестве, но не в виде кругляшей. Он был рассыпчатой и даже жидкой консистенции. Мы не знали, во что его собирать и как его транспортировать через забор. Да и годится ли такой навоз для лечения: ведь речь шла только о яблоках?

Вдруг из-за угла конюшни вышла могучая пятнистая собака с большой головой. Вся ее шерсть была в сенной трухе — видно, спала где-то, а теперь учуяла нас и решила проявить оперативность. Мы замерли в неприятном ожидании. Собака степенно подошла ко мне и деловито, без лая и озлобления, укусила меня за ногу. Я подпрыгнул, но смолчал. Мне не хотелось, чтоб мой болезненный крик услыхала Малютка. С другой стороны, я воздержался от крика потому, что боялся появления сторожа. У меня было опасение, что если нас поймают, то могут припаять статью за конокрадство.

Меж тем собака подошла к двум братьям и осуждающе посмотрела на них. Но кусать не стала. Они были так похожи

один на другого, что у нее произошло раздвоение сознания, и она не смогла решить, какого брата надо наказать в первую очередь. Собака отошла от Близнецов, вернулась ко мне и задумчиво укусила меня за вторую ногу, для симметрии. Я опять подпрыгнул, но смолчал. Было очень больно, но в то же время я, как это ни странно, чувствовал некоторое облегчение. Очевидно, боль в ногах оттянула на себя боль от зуба. Но тут у меня возник вопрос, почему молчит собака. Не бешеная ли она?

Все это происходило вроде бы при полном согласии и взаимопонимании. Собака меня кусала, но не лаяла. Я был кусаем, но не кричал. Однако на Близнецов такая пантомима произвела угнетающее впечатление, и они с шумом бросились к забору. В это мгновение из домика, примыкающего к конюшне, вышел сторож в ватнике. Я ожидал потока извозчичьей ругани или даже физических действий.

И вдруг увидал, что этот человек держится рукой за щеку. Я понял, что наш брат по страданиям не причинит нам зла.

— Конских яблок сегодня нет, овес дали плохого качества, — произнес незнакомец с каким-то нездешним акцентом. — Что касается собаки, то она не бешеная. Она немая с детства.

Я с изумлением спросил его, откуда он узнал мои мысли и наши намерения.

— Многое знаю я, — уклончиво ответил конский сторож. — А сейчас я присоединяюсь к вам.

Нездешний (так окрестил я его) вернулся в сторожку, разбудил своего напарника, затем повел нас к воротам, открыл их и вместе с нами примкнул к шествию.

4. На краю гибели

Когда мы, усталые и измученные, вышли к Охтинскому мосту, выяснилось, что его развели за шесть минут до нашего прихода. Это был наш последний мост. Выше по течению Невы мостов в те годы не имелось... Но надо было действовать, и вот мы постановили идти дальше вверх по Неве и искать перевоз.

Город кончился. Нева здесь не была одета в гранит: поросший деревьями и кустами берег выглядел совсем не поленинградски. Мы шли по пустынной дороге долго-долго.

И вдруг за кустарником мы увидели большой костер, казавшийся неярким в свете белой ночи. Потом послышались голоса. Мы вышли на полянку у самой воды, где вокруг костра сидели пять мужчин разного возраста. Они молча уставились на нас, мы молча смотрели на них. Наконец Самый Пожилой из незнакомцев сказал:

— Мать честная, мы-то думали — облава. А это опять зубники! Ишь, сколько их развелось! Вчера шесть штук приперлось, а сегодня целых одиннадцать!.. Из-за мостов? — обратился он к Сверхмученику, учуяв в нем предводителя.

— Из-за мостов, — скорбно ответил Сверхмученик. — Но нас не одиннадцать штук, а одиннадцать персон.

— Ладно, персоны так персоны, — добродушно согласился Самый Пожилой. — Идите к огню, погрейтесь.

Незнакомцы тактично освободили место, и мы встали вокруг костра. Каждый, подержав руку над огнем, торопливо прикладывал ладонь к щеке; после нескольких таких прикладываний зубу становилось немножко легче. Сверхмученик совал обе руки прямо в пламя, а затем молниеносно подносил их к лицу. Пахло паленым.

Уважаемый Читатель! Вас, конечно, интересует, что это за люди уступили нам место у костра. То были невские речные пираты. В те времена они еще существовали и гнездились главным образом на Охте и выше по правому берегу матушки-Невы. Это были люмпены, которые имели лодки, — большею частью краденые. На корабли они, конечно, не нападали, и черного флага с черепом и двумя костями у них не имелось. С этой мрачной эмблемой они были знакомы лично только по этикеткам на бутылках денатурата. Речные пираты промышляли тем, что продавали налево бревна, оторвавшиеся от сплавных плотов, брали то, что плохо лежит, с береговых пристаней и складов. Они же охотно перевозили пассажиров с одного берега на другой, заламывая за это пиратскую цену. Действовали они главным образом по ночам.

Согрев свои зубы, Сверхмученик вступил в коммерческие переговоры с руководителем пиратов. Самый Пожилой потребовал за перевоз к спуску Летнего сада по полтиннику с души. Мы быстро собрали деньги, причем я уплатил за Малютку: она выбежала из дома без кошелька. Братья-Близнецы скинулись каждый по семнадцать копеек, больше у них не имелось. Со Счастливца руководитель пиратов взыскал рубль, дополнительно за вещи.

— Вас Леша-Трезвяк переправит. В моторке поедете, прямо как графья, — заверил нас Самый Пожилой. — Леша, подгони свою посудку!

От группки пиратов отделился один в кепке цвета восходящего солнца и шаткой походкой пошел по берегу, за кусты. Через несколько минут послышалось тарахтенье мотора, и вскоре Леша-Трезвяк подрулил на моторке к мосткам, находившимся совсем близко от костра. На носу суденышка было написано: «Надежда». Увы, оптимизм внушало только название.

— Страшно на такой лодке плыть, — заявила Старушка. — Вполне затонуть можно.

— Вы, бабуля, на людей панику не нагоняйте! — возразил руководитель пиратов. — Вам давно газета с того света идет, а вы за лодку беспокоитесь.

Мы стали грузиться.

Сверхмученик обосновался на носовой банке, все другие на трех остальных. Моей соседкой оказалась Малютка; она села между мной и Бубнистом.

Счастливец долго грузил свои покупки; пираты помогали ему в этом деле. Леша-Трезвяк занял место на корме и стал возиться с мотором. Тот нехотя завелся. Леша на своем пиратском жаргоне дал совет:

— Сидите спо, не вертухайтесь! А не то мо и уто!

Но какое уж тут вертуханье! Мы понимали, что вполне можем утонуть, если начнем шевелиться. Лодка сидела в воде очень низко.

Когда мы удалились от берега, Леша-Трезвяк вдруг заглушил мотор и, сняв с головы кепку, произнес:

— Прошу пожертво кто сколько мо от чистого се! Но не менее тридцати ко!

Все, конечно, возмутились! Сверхмученик гневно заявил:

— Это безобразие! Мы уже уплатили!

Но пират-моторист сказал, что те деньги — в общий котел, а эти — лично ему. На текущий ремонт. Он пустил кепку по кругу, и каждый из пассажиров внес требуемую сумму. Только Близнецы ничего уже не могли дать. А за Малютку опять уплатил я, и в ее лучистых глазах блеснули слезы благодарности.

Ссыпав в карман пожертвования, Леша-Трезвяк завел мотор, и вскоре мы очутились на середине Невы. И вдруг Счастливец, сидевший ближе к корме, заявил:

— Лодка течет! Мои новые ботинки промокли!

Когда выяснилось, что у всех ноги уже в воде и вода все прибывает, Леша добросовестно объяснил, что в носовой обшивке поломана одна рейка, а лодка перегружена, потому и течет.

— Пора принять срочные пожарные меры против утопления! — вдумчивым басом заявил Сверхмученик. — Нужно облегчить лодку!.. Гражданин, придется вам повыкидывать за борт вещички, — закончил он, обращаясь персонально к Счастливцу.

Но тому не хотелось расставаться с имуществом.

— Кои веки пофартило, а теперь, выходит, я должен свое счастье в воду кидать! Уж лучше я сам за борт сигану, только б вещи были живы!

Однако, чтобы успокоить общественное мнение, он выкинул за борт портрет Игнатия Лойолы, и тот в своей позолоченной раме поплыл вниз по Неве к новым свершениям.

— Мало! Мало! — послышались голоса страдальцев. — Картинками не отделаешься!

Тогда Счастливец, с отчаянием на лице, схватил штырь громоотвода и метнул его за борт. Но он не рассчитал движения: острая железина, перед тем как упасть в воду, ткнулась в бензобак и пробила его. Запахло бензином. Мотор фыркнул два раза и заглох.

В наступившей тишине послышался заинтересованный голос Старушки:

— Боже, ответь, что с нами будет?

Но бог молчал. Лодку кормой вперед несло по стрежню реки. С поворота стал виден Охтинский мост. Нам угрожало две опасности: или моторка затонет сама, или ее нанесет на быки моста и она перевернется.

Тут у Бубниста вдруг наступил краткий безболевой проблеск, и он звонко запел, ударяя бубном по головам соседей:

Нужны, нужны мне денежки
Повсюду и везде,
Мне требуются денежки
На суше и в воде!

Но никто не примкнул к его порыву. У всех возникла мыслишка, что если мы очутимся в воде, то в дальнейшем денежки нам уже не потребуются.

Меж тем Леша-Трезвяк, убедившись в полной неработоспособности мотора, встал на корме во весь рост, повернувшись к нам и скрестив руки на груди, как это любил делать ныне покойный император Наполеон.

— Правильно, значит, в песне поется: лю гибнут за ме! — печально сказал пират.

— Скажите, неужели нет шансов на спасенье? — спросил Лешу Новобрачный, и все замерли в ожидании ответа.

— Возможен оверкиль, — ответил Леша загадочным голосом.

Мученики, услышав этот непонятный для широких сухопутных масс морской термин, заметно приободрились. На симпатичном лице Малютки блеснул светлый луч надежды. Но у меня в яхт-клубе был хороший приятель, и через него я теоретически знал, что означает это слово. «Оверкиль» — это когда судно перевертывается килем вверх. Однако в данных условиях я не счел нужным делиться с окружающими своими морскими познаньями.

Зная, что жить осталось считанные минуты, я решил подарить эти минуты человечеству, то есть использовать их для поэтического творчества. Вытянув из кармана блокнот и карандаш, я стал набрасывать строки моей лебединой песни. Озаглавил я ее так: «Колыбельная аварийная». Не буду приводить ее здесь, ибо если Вы, уважаемый Читатель, человек культурный, то Вы, конечно, знаете ее наизусть, как и другие мои произведения.

Когда до моста оставалось метров пятьдесят, Нездешний вдруг проявил активность. Этот скромный конский сторож быстро пробрался на корму и, вежливо отстранив Лешу-Трезвяка, склонился над мотором. Затем он вынул из кармана нечто вроде портсигара. Я подумал, что человек захотел покурить перед смертью. Но когда он раскрыл эту металлическую коробочку, никаких папирос в ней не оказалось. Там был какой-то очень сложный механизм, а на внутренней стороне крышки виднелось зеркальце.

Нездешний направил зеркальце на небо и произнес несколько слов на непонятном языке. С неба послышался негромкий приятный голос. Руки Нездешнего начали светиться розоватым огнем.

— Господь! Ты явился к нам! — воскликнула Старушка.

— Гражданка, вы ошибаетесь, — тактично сказал конский сторож. — Я никакой не господь, а я просто скромный гость с Аллиолары, седьмой планеты в Загалактическом созвездии Амплитуда.

С запада подул сильный, но нерезкий ветер и начал нас отжимать от моста. Нездешний неторопливо провел светящейся ладонью по поверхности бензобака — и металл на пробитом месте сразу сплавился и сросся, будто там и не было никакой пробоины. Затем он отвинтил пробку бака, сложил ладони лодочкой и стал черпать воду из лодки и вливать ее в бак.

— Можете запускать мотор! — скомандовал он Леше-Трезвяку.

Тот недоверчиво завел двигатель. Послышались выхлопы, запахло бензиновым дымом. «Надежда» рванулась вперед.

— Итак, мы спасены! — подытожил Сверхмученик. — Спасибо вам, товарищ Пришелец! Скажите, как вас звать?

— Мой земной псевдоним — Афанасий Петрович, — ответил Нездешний и возложил руки на воду, скопившуюся в лодке. В лодке стало сухо. Ладони нашего спасителя перестали светиться, он сел на мое место и схватился за щеку.

После пережитого волнения зубная боль завладела всеми с новой силой. Воцарилось молчание, прерываемое охами и стонами. Бодр был только Леша-Трезвяк. В нем происходила бурная переоценка ценностей. Вынув из кармана деньги, собранные с нас, он всыпал их в кепку цвета восходящего солнца и пустил ее по кругу, чтоб каждый взял свои монеты обратно.

Тут я спросил у Нездешнего, почему это он, обладая такой властью над стихиями, в то же время мается зубами и ищет помощи у земных врачей?

— Направляясь на Землю, я дал на Аллиоларе подписку ничем не отличаться от землян, — ответил Афанасий Петрович. — Правда, только что я вынужден был для вашего и своего спасения прибегнуть к неземной технике, но предварительно я связался с Аллиоларой и испросил на это разрешение. Оно было дано, ибо там выяснили, что спасение данной группы людей не внесет существенных перемен в историю Земли.

Я хотел сказать ему, что он ошибается: ведь из того факта, что я спасен, вытекал тот исторический факт, что я еще одарю Землю своим творчеством. Но застенчивость помешала мне высказать это вслух.

— Еще вопросы имеются? — молвил Афанасий Петрович.

— Скажите, сколько у вас там стоит кубометр березовых дров? — послышался мелодичный голос Малютки.

— Дровами мы давно не пользуемся, — мягко ответил Нездешний.

— А есть у вам там ужа преступле? — поинтересовался Леша-Трезвяк.

— Увы, случаются. Года шестьдесят четыре тому назад вся Аллиолара была потрясена ужасным преступлением. Один муж бросил в свою жену куском туалетного мыла. Правда, не попал. Но ужасен сам факт. Наши газеты много писали об этом.

— Сколько мерзавцу за это дали? — спросила Старушка.

— Он был оправдан. Выяснилось, что у него болел зуб и жена начала давать ему зубоврачебные советы. Она успела дать около шестнадцати советов.

— А какая система счета у вас? — задал вопрос Новобрачный.

— На Аллиоларе, как и на прочих высокоцивилизованных планетах, принята единая тридцатидвоичная счетная система. Основой ее послужили зубы. Суть в том, что у всех разумных существ на всех планетах всегда по тридцать два зуба. Все мы — братья по разуму и по зубам!

5. Счастливые итоги

Вскоре «Надежда», целиком оправдав свое наименование, причалила к гранитному спуску возле Летнего сада, и десант зубных страдальцев без потерь в личном составе высадился на твердую землю. Леша-Трезвяк помог Счастливцу выгрузить вещички и по просьбе последнего, используя имевшиеся веревки, привязал к его спине все покупки надежными морскими узлами. Для этого Счастливец встал на четвереньки. Дальнейший путь он совершал именно в таком положении.

Леша отчалил, крикнув на пиратском жаргоне последнее приветствие, и мы направились к цели, соблюдая прежний походный ордер. Впереди посреди мостовой, держась за обе щеки, шагал Сверхмученик, за ним — все остальные. Шествие замыкал Счастливец на своих четырех. Он ступал тяжело, как боевой слон. Набор сковородок, привязанных к голове, громыхал устрашающе. Прохожие, рискуя опоздать на работу, останавливались и долго смотрели вслед нашему подразделению. Верующие крестились.

И вот наконец желанная зубная поликлиника!..

Братство зубных мучеников распалось. Из зубной лечебницы все уходили поодиночке, уже чужие друг другу. И только мы с Малюткой вышли вдвоем. Чтобы подождать, когда окажет действие лекарство, положенное в наши зубы, мы сели на скамью в сквере.

Боль шла на убыль. На душе становилось все радостнее и светлее, и только одно огорчало меня: близился миг расставания с Малюткой. Чтобы продлить общение с симпатичной девушкой, я стал читать ей свои стихи. Малютка слушала как вкопанная. Затем спросила, нет ли у меня чего-нибудь о дровах. Я признался, что про дрова мною пока что ничего не создано. Но под ее вдохновляющим влиянием я со временем, несомненно, дорвусь и до этой темы — если, конечно, наше знакомство продолжится. Затем, преодолев застенчивость, я заявил Малютке, что мне хотелось бы с ней никогда не расставаться и что я готов оформить свои чувства через загс.

Малютка погрузилась в глубокое молчание. Судьба моя висела на волоске... Потом она прошептала:

— Любовь побеждает!.. Я, кажется, согласна... Ты рад?

— Еще бы не рад! — воскликнул я. — Этот день плотно войдет в мои стихи и через них — в мировую поэзию.

— Но брак — дело серьезное, — зардевшись, молвила Малютка. — Поэтому я хочу задать тебе один интимный вопрос... Ты умеешь носить дрова?

— В каком это смысле? — со смущением спросил я.

— В самом прямом, — обиженно сказала Малютка. — И, поскольку ты теперь мой жених, а я твоя невеста, я должна открыть тебе одну тайну: я живу на седьмом этаже. Лифта нет.

— Дорогая, я согласился бы носить тебе дрова, если б ты даже жила на верхушке Адмиралтейского шпиля! — прошептал я.

Через месяц мы сочетались законным браком.

В день свадьбы в печати появилась «Колыбельная аварийная», положившая начало моей общеизвестности. Вскоре была опубликована поэма «Дрова и судьбы», принесшая мне славу во всемирном, а быть может, и в космическом масштабе (ибо я уверен, что Афанасий Петрович прочел эту замечательную вещь в журнале, восхитился ею, перевел на аллиоларский язык и транслировал в Космос).

С Малюткой мы живем душа в душу. Со дня нашего бракосочетания миновало уже 32 года и 8 лет, но за это время я не метнул в нее ни одного куска туалетного мыла.

Так, благодаря зубам, ко мне пришли личное счастье и творческий расцвет, чего желаю и всему остальному человечеству!

...Но для глубоко мыслящего человека нет полного счастья. Сознание, что я до сих пор не преодолел своей природной скромности, угнетает меня. И до сих пор, как в дни своей молодости, ежедневно перед сном я штудирую старенькую, потрепанную брошюру — «Как избавиться от застенчивости».

32 декабря 3216 г.

(по Галактическому календарю)

1978 год.

Гюнтер Грасс

Отрывок из романа «Под местным наркозом»

Это я рассказывал своему зубному врачу. С набитым ватой ртом, напротив экрана, который — так же беззвучно, как я, — рассказывал рекламные объявления: спрэй для волос, компания «Бюстенрот», ваше белье будет белее белого... Ах, и морозильник, где, расположившись между телячьими почками и молоком, пускала пузыри текста моя невеста: «Не лезь в это. Не лезь...»

(Святая Аполлония, заступись за меня!) Своим ученицам и ученикам я сказал: «Попытайтесь быть снисходительными. Мне нужно к зубному. Дело может затянуться. Временное, значит, помилование».

Смешки. Умеренные проявления непочтительности. Шербаум показал странную осведомленность: «Глубокоуважаемый господин Штаруш. Ваше выстраданное решение побуждает нас, ваших исполненных сочувствия учеников, напомнить вам о мученичестве Святой Аполлонии. В 250 году, в правление императора Деция, эта славная девушка была сожжена в Александрии. Поскольку перед тем эта банда вырвала у нее клещами все зубы, она считается покровительницей всех страдающих зубной болью, а также, что несправедливо, и дантистов. На фресках в Милане и Сполето, на сводах шведских церквей, а также в Штерцинге, Гмюнде и Любеке она изображена с коренным зубом в щипцах. Желаем приятного времяпрепровождения и благочестивой покорности судьбе. Мы, ваш 12-а, будем молить Святую. Аполлонию о заступничестве».

Класс пробормотал благословения. Я поблагодарил за более или менее остроумный вздор. Веро Леванд тут же по-

требовала от меня компенсации: моего голоса за то, чтобы учредить у велосипедного сарая место для курения, чего уже не один месяц добивались ученики. «Ведь вы же не можете хотеть, чтобы мы без присмотра дымили в сортире».

Я пообещал классу, что на ближайшем совещании и перед родительским комитетом выскажусь за ограниченное определенным временем разрешение курить, при условии, что Шербаум согласится стать главным редактором ученической газеты, если ему это предложит комитет солидарной ответственности учеников. «Простите за сравнение: над моими зубами и над вашей газетенкой надо поработать».

Но Шербаум это отвел: «Пока солидарная ответственность учеников не превратится в их самоуправление, я палец о палец не ударю. Идиотизм реформировать нельзя. Или вы, может быть, верите в реформированный идиотизм?... Ну, вот видите... А насчет этой святой, между прочим, все верно. Можете заглянуть в церковный календарь».

(Святая Аполлония, заступись за меня!) Ибо однократный призыв у мучеников в счет не идет. Поэтому, отправляясь перед вечером в путь, я отложил третий призыв, и лишь на Гогенцоллерндаме, за несколько шагов до той номерной таблички, что обещала мне на третьем этаже приличного доходного дома кабинет зубного врача, нет, лишь в лестничной клетке, между вагинальными арабесками в стиле модерн, которые фризом поднимались, как я, по лестницам, я решился, скрепя сердце, на третий призыв: «Святая Аполлония, заступись за меня...»

Его рекомендовала мне Ирмгард Зайферт. Она назвала его сдержанным, осторожным и все же твердым. «И представьте себе: у него в кабинете телевизор. Сначала я не хотела, чтобы он был включен во время лечения, но теперь я должна признать: это замечательно отвлекает. Словно ты в каком-то другом месте. И даже слепой экран и то занимателен, чем-то занимателен...»

Разрешается ли зубному врачу спрашивать пациента о его происхождении?

«Я потерял молочные зубы в портовом предместье Нойфарвассер. Тамошние жители, грузчики и рабочие верфи Шикау, любили жевать табак, соответственно выглядели и их зубы. И на каждом шагу они оставляли свои отметки: смолистую мокроту, которая ни при каком морозе не замерзала».

«Так— так, — сказал он, обутый в парусиновые башмаки, — но с последствиями жевания табака нам теперь вряд ли придется иметь дело». И уже перешел к другому: к дефектам артикуляции и к моему профилю, который с начала половой зрелости выступающая нижняя челюсть делает чересчур волевым, что можно было бы предотвратить своевременным зубоврачебным вмешательством. (Моя бывшая невеста сравнивала мою нижнюю челюсть с тачкой; а на карикатуре, пущенной в обращение Веро Леванд, на мою челюсть была возложена еще одна функция — грузовика с низкой погрузочной платформой.) Ну да, ну, конечно. Я же всегда знал: у меня рубящий прикус. Я не могу размалывать пищу. Собака ее рвет. Кошка размалывает. Человек, жуя, делает оба движения. У меня этого нормального сочетания нет. «Вы рубите пищу», — сказал врач. И я уже рад был, что он не сказал: «Вы рвете ее, как собака». — «Поэтому мы сделаем рентгенограмму. Спокойно закройте глаза. Да и телевизор мы можем...»

(«Спасибо, доктор». Или я уже с самого начала сточил это обращение в фамильярное «доктэр»? Позднее, в полной беспомощности, я кричал: «Помогите, доктэр! Что мне делать, доктэр? Вы же все знаете, доктэр...»)

Пока он своим снарядом, который прожужжал одиннадцать раз, лез в мои зубы, болтая при этом — «Я мог бы рассказать вам кое-что из предыстории зубоврачебного дела...» — я много чего увидел на молочном экране, например Нойфарвассер, где я утопил молочный зуб в Мотлау, напротив Хольма.

Его фильм начинался иначе: «Пойдем от Гиппократа. Он рекомендует чечевичную кашу от абсцессов в полости рта».

А на экране качала головой моя мама: «Нет, не надо топить. Мы их сохраним в шкатулочке на голубой вате». Чуть выпуклая, разливалась доброта. Пока мой врач говорил историко-научными тезисами — «Полоскание перцовой настойкой помогает, по Гиппократу, от зубных опухолей», — моя мама говорила в нашей кухне-столовой: «И гранатовую брошь положу, и янтарь, и дедушкины ордена. И мы сохраним твои молочные зубки, чтобы потом жена и детки сказали: вот какие они были».

А он посягал на мои предкоренные, на мои коренные. Ибо из всех моих коренных зубов самыми надежными были зубы мудрости, восьмой плюс восьмой, восьмой минус восьмой. Они должны были стать опорами моста, который скорректирует и смягчит мой рубящий прикус. «Вмешательство, — сказал он. — Мы должны решиться на изрядное хирургическое вмешательство. Пока моя ассистентка будет проявлять снимок, — а я тем временем удалю камень, — не включить ли мне изображение и звук?»

Все еще: «Спасибо».

Он поступился принципами: «Может быть, восточную программу?» Мне хватало готового стерпеть что угодно экрана, на котором видно было, как я снова и снова, медленно, топлю свой молочный зуб в портовой жиже напротив Хольма. Мне еще нравилась моя семейная история, ведь все началось с молочного зуба: «Конечно, мама, я утопил в порту зуб, вот его и не хватает. И его проглотила рыба, не судак, а донный сом, который все плохие времена пережил. Он все еще лежит там в засаде, ведь сомы живут долго, и ждет других молочных зубов. Но остальные зубки молочно-жемчужно, без камня, светятся на красной вате, а гранатовая брошь, и янтарь, и дедушкины ордена пропали...»

Врач пребывал тем временем в одиннадцатом веке и рассказывал об арабском враче Альбукасисе, который в Кордове первым заговорил о зубном камне. «Его надо снимать». Помню я фразы и такого рода: «Если кислотный остаток в щелочи составляет менее семи pH, — образуется зубной камень, потому что слюнные железы нижней челюсти выделяют слюну возле резцов, а околоушные — возле шестых плюс шестых — особенно сильно при предельных движениях рта, например при зевании. Зевните-ка. Так, так, хорошо...»

Я во всем этом участвовал, зевал, выпускал слюну, которая образует камень, и все же не сумел заинтересовать доктора. «Так вот, доктор, как называется мой маленький фильм? — Спасенные молочные зубы. Когда в январе сорок пятого моей маме пришлось собирать манатки — ведь мой отец служил в лоцманском управлении и мог позаботиться о семье заблаговременно, — она покинула Нойфарвассер с последним транспортом. Но прежде чем покинуть его, она сложила самое необходимое, а значит, и мои молочные зубы, в большой брезентовый отцовский мешок, который, как то бывает при скоропалительном бегстве, погрузили по ошибке на г Пауля Бенеке», колесный прогулочный пароход, г Пауль Бенеке» не наскочил на мину и в целости, несмотря на перегрузку, добрался до Травемюнде, а моей доброй мамочке ни Любека, ни Травемюнде увидеть не довелось; ибо тот транспорт, о котором я сказал, что он был последним, наскочил на мину южнее Борнхольма, был торпедирован и — если вы соизволите обернуться и отвлечься от зубного камня — вместе с моей мамой, как тогда среди ледяного крошева, так и сегодня на вашем экране, пошел прямиком ко дну. Только нескольким господам из гау-лейтерской службы удалось, говорят, вовремя перебраться на какой-то торпедный катер...»

Врач сказал: «Теперь прополощите!» (В ходе долгой работы он просил, понукал, вскрикивал: «Еще раз!», позволял мне отвести взгляд). Лишь изредка удавалось кадрам моего фильма убежать вместе со мной и затмить в плевательнице выброс в виде, например, осколков зубного камня. Расстояние между экраном и плевательницей, это мерцание при одновременном напоре слюны, изобиловало всяческими препятствиями и рождало как бы заключенные в скобки фразы:

реплики моего ученика Шербаума, личного характера пререкания между Ирмгард Зайферт и мною, мелочи школьного быта, вопросы к кандидату на втором государственном экзамене на должность учителя и упакованные в цитаты вопросы бытия. Но как ни трудно было добраться от экрана до плевательницы, мне почти всегда удавалось избегать искажений картинки.

— Как то бывает, доктэр, мои молочные зубы хранились долго, ведь то, что было однажды спасено, теряется снова не так скоро...

— Не будем обманывать себя: от зубного камня средств нет...

— Когда сын стал искать родителей, ему доставили брезентовый мешок...

— Поэтому сегодня одолеем зубной камень, врага номер один...

— И каждой девушке, предполагавшей во мне будущего жениха, доводилось видеть мои спасенные молочные зубы...

— Ведь инструментальное удаление зубного камня входит априори в любое лечение...

— Но не каждая девушка находила молочные зубы Эберхарда красивыми и интересными...

— Сейчас начали работать ультразвуком. Сполосните.

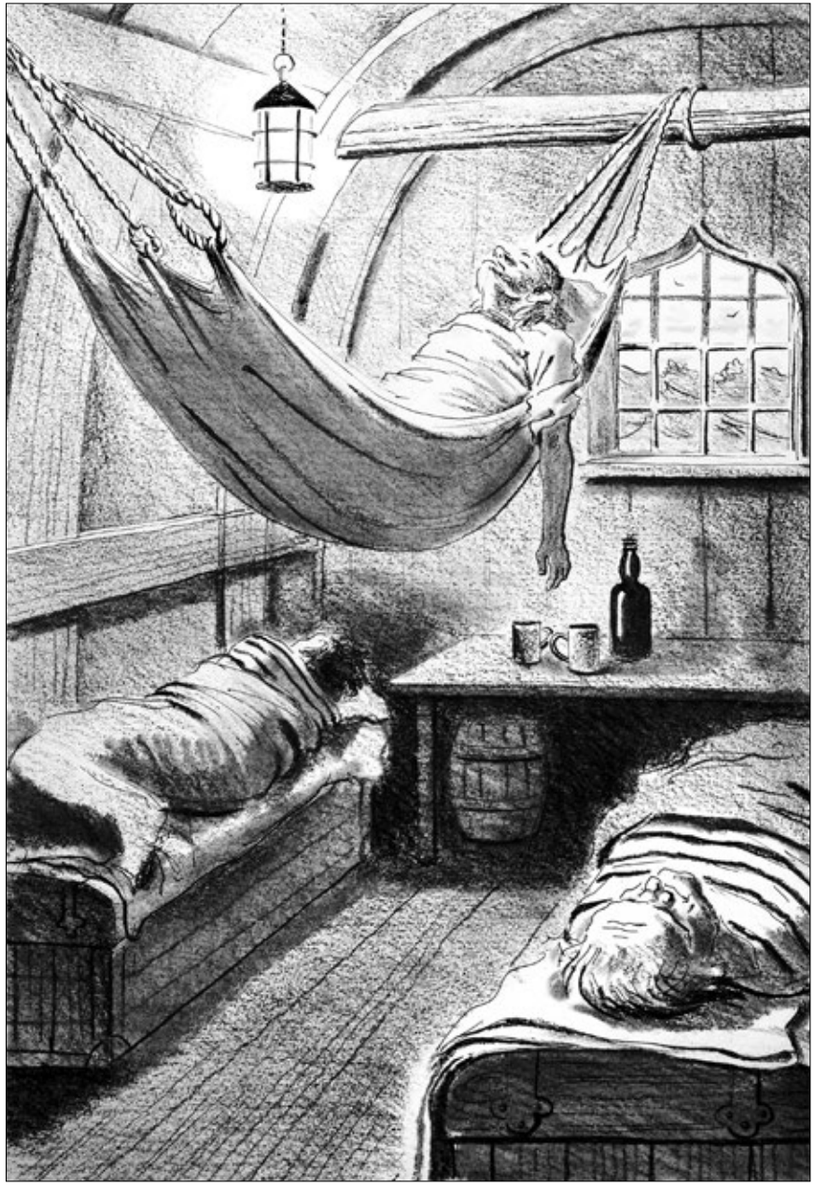
Досадный, как я подумал было, врез, ибо с помощью спасенных молочных зубов мне почти удалось заманить на экран мою бывшую невесту и начать (как я и сейчас хочу начать наконец свои жалобы), но мой врач воспротивился: рано.

Пока я истово полоскал рот, он развлекал меня историческими анекдотами. Он рассказал о некоем Скрибонии Ларге, изобретшем для Мессалины, первой жены императора Клавдия, зубной порошок: жженый олений рог плюс хиосская смола и аммиачная соль. Когда он признал, что уже у Плиния толченые молочные зубы упоминались как порошок, приносящий удачу, у меня в ушах снова прозвучали слова моей мамы: «Вот, деточка, я положу их тебе на зеленую вату. Пусть это будет тебе на счастье...»

Что значит суеверие! В конце концов, я вышел из семьи моряков. Мой дядя Макс остался на Доггерской банке. Мой отец пережил «Кенигсберг» и до самого конца эпохи вольного города работал лоцманом. А меня мальчишки сразу прозвали Штёртебекером. Я до конца оставался их вожаком. Мооркене приходилось быть второй скрипкой. Из-за этого он хотел разрушить нашу банду. Но я этого не допускал: «Послушайте, ребята...» Не допускал до тех пор, пока наша лавочка не погорела, потому что этот мозгляк настучал. Надо бы как-нибудь все выложить, все по порядку, как было на самом деле, пустить на экран. Но не с обычными ухищрениями для занимательности — «Взлет и падение банды Штойбера», — а скорее научно, аналитически: «Молодежные банды в Третьей империи». Ведь никто еще до сих пор не заглядывал в дела эдельвейсовских пиратов, хранящихся в подвале Кёльнского управления полиции. («Как по-вашему, Шербаум? Это должно бы ведь заинтересовать ваше поколение. Нам было тогда по семнадцати, как вам сегодня семнадцать. И нельзя не заметить определенных общих черт — отсутствие собственности, девушка, принадлежащая всей группе, полное неприятие всех взрослых. Да и преобладающий в 12-а жаргон напоминает мне наш рабочий жаргон...») Тогда была, однако, война. Речь шла отнюдь не о местах для курения и подобных ребячествах. (Когда мы обчистили хозяйственное управление... Когда мы подобрались к боковому алтарю церкви Сердца Господня... Когда мы на Винтерфельдской площади...) Мы оказывали настоящее сопротивление. С нами никто не мог справиться. Пока нас не выдал Мооркене. Или эта заборная жердь с ее зубами-резцами. Надо было их самим заложить. Или строгий запрет: никаких баб! Между прочим, тогда я носил на груди в мешочке свои молочные зубы. Каждый, кого мы принимали, должен был клясться моими молочными зуба-

ми: «Ничто изничтожается непрестанно». Следовало бы их принести: «Видите, доктэр, вот как быстро все идет. Вчера еще я был главарем молодежной банды, которой боялись в рейхсгау Данциг — Западная Пруссия, а сегодня я уже штудиенрат, учитель немецкого языка и, значит, истории, которому хочется уговорить своего ученика Шербаума отойти от юношеского анархизма: Вам надо взяться за ученическую газету. Ваш критический дар нуждается в орудии». Ведь штудиенрат — это тот же, только с обратным знаком, вожак банды — если вы возьмете меня мерилом — ничто так не донимает, как зубная боль, зубная боль уже несколько недель...»

Цинга



Джеймс Линд

Трактат о цинге

20 мая 1747 я выбрал двенадцать пациентов, страдавших от цинги, на борту корабля «Солсбери», находящегося в открытом море. Их состояние было примерно одинаковым. У всех были гнилые десны, пятна, чувство усталости и слабость в коленях. Они лежали в общем помещении для больных в носовом трюме. Все ели одну пищу. По утрам кашу с сахаром, на ужин свежий бараний бульон, иногда пудинги, печенье с вареным сахаром, ячмень с изюмом, рис со смородиной, *саго*[1] с вином.

Из этих двенадцати пациентов двое стали получать литр сидра в день. Двое других - по двадцать пять капель эликсира купороса три раза в день натощак, также они использовали подкисленный раствор для полоскания рта. Еще двое выпивали по 2 ложки уксуса три раза в день натощак, получали окисленные каши и применяли полоскание. Два особенно тяжелых пациента, страдавших от ригидности мышц задней поверхности бедер (*симптом, который у других не наблюдался*[2]), пили морскую воду. В среднем они выпивали по полпинты в день, иногда больше, иногда меньше - как щадящее лечение. Двое других ежедневно получали два апельсина и один лимон. Они с жадностью съедали их натощак в разное время суток. Это продолжалось лишь шесть дней, поскольку продукты быстро закончились.

Двое оставшихся больных принимали порошки, рекомендованные хирургом, приготовленные из чеснока, горчичного зерна, высушенного корня редиса, перуанского бальзама и мирра. Также они употребляли обычные напитки и ячменную воду, подкисленную *тамариндом*[3].

[1] Крупа, получаемая из саговой пальмы.
[2] Скорее всего, имеются в виду гематозы — кровоизлияния, характерные для разгара цинги.
[3] Мякоть плода тропического дерева из семейства бобовых, произрастающего в Азии, Восточной Африке, Мадагаскаре, Мексике и Южной Америке. Кислая на вкус. Использовалось как приправа.

В результате неожиданный и положительный эффект был получен от апельсинов и лимонов. Один из пациентов, который ел их, по истечению шести дней уже был пригоден для несения службы. Пятна не исчезли с его тела, десна выглядели по-прежнему, но, не используя иного лекарства, кроме полоскания для рта, он выздоровел прежде, чем мы пришли в Плимут 16 июля. Другой стал чувствовать себя много лучше, чем остальные пациенты, и он смог ухаживать за оставшимися больными. А я полагал, что сидр даст лучший эффект, чем апельсины...

1753 год.

Джек Лондон

Отрывок из романа «Смок Белью»

– Теперь я знаю! — взволнованно и тоже шепотом ответил Смок. — Это люди Лоры Сибли. Разве ты не помнишь? Они приплыли осенью по Юкону на «Порт-Таунсенде». Прошли мимо Доусона без остановки. Должно быть, высадились прямо у этого ручья.

— Ну да. Припоминаю. Они мормоны.

— Нет, вегетарианцы. — Смок усмехнулся в темноте. — Не едят мяса и не ездят на собаках.

— Мормоны, вегетарианцы — один черт. У всех у них мозги набекрень. И всегда их на золото тянет. Эта самая Лора Сибли обещала привести их на такое место, где они разом станут миллионерами.

— Правильно. Она у них пророчица — ее посещают видения и всякое такое. А я думал, что они двинулись вверх по Норденсджолду.

— Тсс! Слушай!

В темноте Малыш предостерегающе дотронулся рукой до груди Смока, и оба прислушались: низкий протяжный стон донесся от одной из хижин. И, прежде чем он замер, его подхватили в другой хижине, в третьей... казалось, это рвется наружу беспредельное человеческое горе. От этих стенаний мороз продирал по коже.

— Бр-р, — содрогнулся Малыш. — Прямо жуть берет. Пойдем поглядим, что с ними стряслось.

Смок подошел к освещенной хижине и постучал. «Войдите!» — со стоном отозвался голос за дверью, и они с Малышом вошли. Это был самый обыкновенный сруб, бревенчатые стены

проконопачены мхом, земляной пол усыпан опилками и стружками. При свете керосиновой лампы можно было разглядеть четыре койки; на трех койках лежали люди, они перестали стонать и уставились на вошедших.

— Что у вас тут? — спросил Смок одного из лежащих; даже под одеялами видно было, какие широкие плечи и большое, сильное тело у этого человека, но глаза у него были страдальческие и щеки ввалились. — Оспа, что ли?

Вместо ответа человек показал на свой рот, с усилием растянул вспухшие, почернелые губы, и Смок невольно отшатнулся.

— Цинга, — негромко сказал он Малышу, и больной кивком подтвердил диагноз.

— Еды хватает? — спросил Малыш.

— Ага, — отозвался человек с другой койки. — Можете взять. Еды полно. В соседнем доме никого нет. Кладовая рядом. Идите и берите.

Во всех хижинах, которые они обошли за этот вечер, оказалось то же самое. Цингой был поражен весь лагерь. Среди его жителей было десять или двенадцать женщин, но Смок с Малышом увидели далеко не всех. Вначале здесь было девяносто три человека. Но десять умерли, и еще двое недавно исчезли. Смок рассказал, как они с Малышом нашли двух самоубийц совсем неподалеку отсюда, и выразил удивление, что никто из лагеря не пошел на поиски. Больше всего его и Малыша поражала беспомощность этих людей. В хижинах была грязь, мусор, дощатые столы заставлены немытой посудой. Никто и не думал помочь друг другу. В каждой хижине были свои несчастья, нимало не трогавшие соседей, и никто уже не давал себе труда хоронить умерших.

— Прямо понять не могу, — признался Малышу Смок. — Встречал я лодырей и бездельников, но не столько сразу! Слыхал, что они говорят? Никто и пальцем не шевельнул за все это время. Пари держу, они тут и не умываются. Не удивительно, что у них цинга.

— Но откуда у вегетарианцев цинга? — возразил Малыш. — Всегда говорят, что цинга косит тех, кто питается мясом, солониной. А эти вообще мяса не едят — ни соленого, ни сырого, ни жареного, никакого.

Смок покачал головой.

— Знаю. Цингу и лечат овощами. Никакие лекарства не помогают. Овощи, особенно картошка, — вот единственное средство. Но не забывай, Малыш, тут перед нами не теория, а факты: эти травоядные все поголовно больны цингой.

— Значит, она заразная.

— Нет, это доктора точно знают. Цинга передается не бациллами. Заразиться ею нельзя. Она сама возникает в организме. От истощения, что ли, от плохого состава крови. Не в том дело, что они что-то подхватили, а в том, что им чего-то не хватает. Цингой заболевают оттого, что недостает каких-то веществ в крови, и эти вещества находятся не в склянках и порошках, а в овощах и зелени.

— Но ведь эти, здешние, только зелень и едят, — возразил Малыш. — У них тут всякой травы сколько угодно. Нет, ты все путаешь, Смок. Это ты разводишь теорию, а факты ее разбивают вдребезги. Цинга — штука заразная, потому они все ее и подхватили и гниют заживо. И мы с тобой заразимся, если будем тут болтаться. Бр-р! Так вот и кажется, что эти самые букашки заползают в меня.

Смок только фыркнул и постучал в дверь следующей хижины.

— Наверно, и тут то же самое, — сказал он. — Входи. Надо разобраться как следует.

— Что вам нужно? — резко спросил женский голос.

— Видеть вас, — ответил Смок.

— Кто вы такие?

— Два доктора из Доусона, — выпалил Малыш и тут же за свое легкомыслие получил от Смока тумак под ребра.

— Никакие доктора нам не нужны, — наотрез заявила женщина, голос ее прервался от боли и злости. — Уходите. До свидания. Мы в докторов не верим.

Смок отодвинул щеколду, толкнул дверь, вошел и вывернул фитиль в слабо горевшей керосиновой лампе. Четыре женщины, лежавшие на койках, перестали стонать и охать и уставились на

непрошеных гостей. Две женщины были молодые, с исхудалыми лицами, третья — пожилая и очень полная, четвертая, которую Смок сразу признал по голосу, была до того худа, что он не верил своим глазам, — таких живых скелетов он еще не видывал. Он сразу понял, что это и есть Лора Сибли, известная пророчица и ясновидящая, затеявшая в Лос-Анджелесе экспедицию; она-то и привела их всех сюда, на Нордбеску, в этот лагерь смерти. Разговор получился весьма недружелюбный. Лора Сибли не признавала докторов. И в придачу ко всем своим испытаниям она почти утратила веру в самое себя.

— Почему вы не послали за помощью? — спросил Смок, когда она умолкла, утомленная, задохнувшись после первой же своей тирады. — Есть большой лагерь на реке Стюарт, и до Доусона всего восемнадцать дней пути.

— А почему Эймос Уэнтворт не пошел? — крикнула она с истерической злостью.

— Я не знаком с этим джентльменом, — ответил Смок. — Чем он занимается?

— Ничем. Но он один из всех нас не заболел цингой. А почему не заболел? Я могу вам сказать. Нет, не скажу... — И она плотно сжала тонкие губы; она была худа до прозрачности. Смоку даже казалось, будто сквозь кожу видны ее зубы до самых корней. — Да если бы он и пошел, что толку? Я же знаю. Я не дура. Наши кладовые полны всяких фруктовых соков и консервированных овощей. Ни один лагерь во всей Аляске не вооружен так, как мы, для борьбы с цингой. У нас есть всякие овощи, фрукты, орехи, какие только изготовляются в сушеном виде и в консервах, и всего этого сколько угодно.

— Вот ты и попался, Смок! — с торжеством воскликнул Малыш. — Тут тоже факт, а не теория. Говоришь, лечение овощами? Вот они, овощи, а как же насчет лечения?

— Не понимаю, в чем дело, — признался Смок. — И ведь во всей Аляске другого такого лагеря не найти. Видал я цингу — попадались два три случая то тут, то там, — но никогда не видел, чтобы лагерь был охвачен цингой, да еще такой свирепой. Ничего нельзя понять, Малыш. Мы должны для них сделать все, что можно, но сперва надо позаботиться о ночлеге и о собаках. Мы навестим вас утром, э-э... миссис Сибли.

— Мисс Сибли, — оскорбленно поправила она. — И вот что, молодой человек: если вы сунетесь сюда с вашими дурацкими лекарствами, я всажу в вас хороший заряд дроби.

— Ну и ведьма же эта пророчица! — смеялся Смок, когда они ощупью пробирались в темноте к пустующей хижине рядом с той, откуда они начали свой обход.

Видно было, что здесь до недавнего времени жили два человека, и друзья невольно спрашивали себя, не те ли самоубийцы, которых они нашли на дороге. Они осмотрели кладовую и обнаружили великое множество припасов — в банках, в порошке, консервированных, сушеных, сгущенных.

— Как же, спрашивается, они ухитрились заполучить цингу? — воскликнул Малыш, широким жестом указывая на пакетики с яичным порошком и итальянскими грибами. — Ты погляди! Только погляди! — Он потрясал банками с томатом, с кукурузой и фаршированными маслинами. — И сама приводчица тоже подхватила цингу. Как это понять?

— Пророчица, — поправил Смок.

— Приводчица, — упрямо повторял Малыш. — Кто их привел в эту дыру, не она, что ли?

На другое утро, когда было уже светло, Смок столкнулся на улице с человеком, тащившим тяжело груженные сучьями и хворостом сани. Низенький, опрятный и подвижной, этот человек шагал бодро, быстро, хотя сани были тяжелые. Смок тотчас проникся неприязнью к нему.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, — ответил низенький.

— Знаю, — сказал Смок. — Потому и спрашиваю. Вы Эймос Уэнтворт. Любопытно, как это получилось, что вы один их всех не заболели цингой?

— Потому что я не лежал на боку, — быстро ответил тот. — Они бы тоже не заболели, если бы не сидели взаперти и хоть что-то делали. А они чем занимались? Ворчали, и жаловались, и ругали холод, долгую ночь, тяжелую жизнь, работу, болезни и все на свете. Они валялись

в постели, пока не распухли так, что уже не могут подняться, вот и все. Посмотрите на меня. Я работал. Войдите ко мне в хижину.

Смок последовал за ним.

— Поглядите вокруг. Дом как игрушечка, а? То-то! Чистота, порядок. Я бы и опилки со стружками вымел, да они нужны для тепла. Но они у меня чистые. А поглядели бы вы, что у других на полу делается. Прямо как в хлеву. Я еще ни разу не ел с немытой тарелки. Нет, сэр. А для этого надо работать, и я работал — не заболел цингой. Намотайте себе это на ус.

— Вы попали в самую точку, — признался Смок. — Но тут у вас, я вижу, только одна койка. Почему это вы в грустном одиночестве?

— Потому что мне так больше нравится. Проще убирать за одним, чем за двумя, только и всего. Тут все лодыри и лежебоки. Неужели я стал бы терпеть такого в доме? Не диво, что у них началась цинга.

Все это звучало очень убедительно, но Смок не мог преодолеть неприязни к своему собеседнику.

— А почему Лора Сибли так на вас сердита? — спросил он вдруг.

Эймос Уэнтворт быстро взглянул на Смока.

— Лора Сибли чудачка, — ответил он. — Все мы чудаки, если хотите знать. Но избави меня Боже от чудака, который тарелки за собой не вымоет, а они все такие.

Несколько минут спустя Смок разговаривал с Лорой Сибли. Опираясь на палки, она проковыляла мимо его хижины и остановилась передохнуть.

— Почему это вы так сердиты на Уэнтворта? — вдруг спросил он ни с того ни с сего.

Этот внезапный вопрос застал ее врасплох. Зеленые глаза ее вспыхнули, худое, изнуренное лицо исказилось от бешенства, распухшие, почерневшие губы кривились, готовые произнести самые резкие, необдуманные слова. Но только какие-то бессвязные, нечленораздельные звуки сорвались с этих губ, и тотчас страшным усилием воли Лора Сибли овладела собой.

— Потому что он здоров, — задыхаясь, выговорила она. — Потому что у него нет цинги. Потому что он думает только о себе. Он пальцем не шевельнет, чтоб кому-нибудь помочь. Бросил нас гнить заживо, и мы гнием заживо, а он хоть бы раз принес нам ведро воды, вязанку хвороста! Такой негодяй! Но он еще дождется! Да, да! Он еще дождется!

Все еще с трудом переводя дух, она заковыляла дальше. Пять минут спустя Смок вышел кормить собак и увидел, как она вошла в хижину Эймоса Уэнтворта.

— Что-то тут неладно, Малыш, что-то неладно, — сказал он, мрачно качая головой, когда его товарищ, перемыв посуду, вышел из дому выплеснуть помои.

— Ясное дело, — весело ответил Малыш. — И нам с тобой тоже ее не миновать. Вот увидишь.

— Я не про цингу.

— А, ты про приводчицу? Эта на все способна, она и мертвого ограбит. До чего же у нее вид голодный, я таких сроду не видал!

— Мы с тобой здоровы, потому что все время работаем, Малыш. И Уэнтворт поэтому здоров. А остальные почти не двигались, и сам видишь, что из этого вышло. Теперь мы пропишем этой хворой команде физический труд. Твое дело следить, чтоб каждый получил свою порцию. Я тебя назначаю старшей сиделкой.

— Что-о-о? — крикнул Малыш. — Меня? Нет уж, увольте!

— Не уволю. И сам буду твоим помощником, потому что это дело нешуточное. Надо их расшевелить. Прежде всего пускай похоронят мертвецов. Самых крепких определим в похоронную команду; других, кто все-таки еще держится, — в команду сборщиков топлива, ведь они тут валялись под одеялами, чтобы экономить дрова; ну, а тех, кто послабее, — на работу полегче. Да, и хвойный отвар. Не забыть бы. Аляскинские старожилы просто молятся на него. А эти про него и не слыхивали.

— Ну, нам несдобровать, — ухмыльнулся Малыш. — Первым делом в нас всадят хорошую порцию свинца.

— А вот с этого мы и начнем, — сказал Смок. — Пошли.

За час они обшарили все двадцать с лишним хижин и отобрали у их обитателей все патроны, все ружья, дробовики и револьверы до единого.

— Ну-ка, болящие, — приговаривал Малыш, — выкладывайте ваши пушки и пистолеты. Они нам пригодятся.

— А вы кто? — осведомились в первой же хижине.

— Доктора из Доусона, — ответил Малыш. — Как скажем, так и делайте. Ну-ну, давайте сюда. И патроны тоже.

— А зачем они вам?

— На нас идут войной мясные консервы. Они уже захватили пол-ущелья, будем отбивать атаку. И имейте в виду, скоро сюда вторгнется хвойный отвар. Ну-ка, поживее.

И это было только начало. Все утро Смок и Малыш поднимали людей с постели — кого просьбами, уговорами, а кого и угрозами и просто силой заставляли встать и одеться. Тех, у кого цинга была в более легкой форме, Смок отобрал в похоронную команду. Других послал запасти дров, чтобы можно было отогреть кострами мерзлую глину и песок и выкопать могилы. Третьим было поручено нарубить и наколоть дров поровну для каждой хижины. Те, кто оказался не в силах выйти из дому, должны были чистить, мыть, прибирать у себя в хижине и стирать белье. Еще одна партия натащила еловых ветвей, и всюду на очагах стали кипятить хвойный отвар.

Но хоть Смок с Малышом и старались делать вид, будто все идет как надо, положение было очень тяжелое. У них мороз пошел по коже, когда они убедились, что по меньшей мере тридцать человек находятся в ужасном, безнадежном состоянии и их нельзя поднять с постели, а одна из женщин в хижине Лоры Сибли умерла. Однако надо было действовать решительно.

— Неохота мне колотить больного, — объяснял Малыш, угрожающе поднимая кулак, — но если это для его же пользы, я ему башку прошибу. А вас всех очень даже полезно поколотить, лодыри вы несчастные. Ну, ну, давай! Подымайся-ка и надевай свои лохмотья, да поживей, а то я тебе сейчас расквашу физиономию!

За работой люди стонали, охали, всхлипывали, слезы струились по их щекам и замерзали, и ясно было, что муки их неподдельные. Положение было отчаянное, и предписанные Смоком меры — поистине героические.

Когда работники вернулись в полдень домой, их уже ждал приличный обед, приготовленный более слабыми соседями по хижине под надзором и руководством Смока и Малыша.

— Пока хватит, — сказал Смок в три часа дня. — Кончайте работу. Ложитесь в постель. Сейчас вы устали, вам худо, зато завтра будет лучше. Конечно, выздороветь не так-то легко, но у меня вы все выздоровеете.

— Слишком поздно, — посмеиваясь над стараниями Смока, сказал Эймос Уэнтворт. — Им надо было взяться за ум еще осенью.

— Пойдемте-ка, — ответил Смок. — Захватите эти два ведра. Вы-то не больны.

И они пошли втроем из хижины в хижину, наделяя всех и каждого доброй пинтой хвойного отвара. Нелегкое это было дело — заставить их выпить лекарство.

— Запомните раз и навсегда, нам не до шуток, — объявил Смок первому же упрямцу, который лежал навзничь и стонал, стиснув зубы. — Малыш, помогай! — Смок ухватил пациента за нос и одновременно слегка стукнул в солнечное сплетение, тот задохнулся и открыл рот. — А ну, Малыш! Сейчас он проглотит!

И больной, давясь, отплевываясь, все же проглотил лекарство.

— Ничего, привыкнете, — заверил Смок свою жертву и потянулся к носу человека, лежавшего на соседней койке.

— Я бы уж предпочел касторку, — по секрету признался другу Малыш, готовясь принять свою порцию. — Клянусь Мафусаилом, — объявил он во всеуслышание, проглотив горькую настойку, — на грош глотнешь — ведро здоровья хлебнешь!

— Мы будем вас обходить с этим хвойным отваром четыре раза в день, и каждый раз нам придется напоить восемьдесят человек, — сказал Смок Лоре Сибли. — Мы не можем зря время терять. Выпьете так или зажать вам нос? — Его рука уже тянулась к ее лицу. — Это настойка растительная, так что совесть может вас не мучить.

— Ни совесть, ни тошнота! — фыркнул Малыш. — Еще бы! Такой дивный напиток!

Лора Сибли колебалась. Нелегко ей было себя пересилить.

— Ну? — повелительно сказал Смок.

— Я... я выпью, — ответила она дрожащим голосом. — Давайте скорей!

В тот вечер Смок и Малыш заползли под свои одеяла такие измотанные, как никогда еще не выматывал их целый день езды по самой тяжелой дороге.

— Тошно мне, — признался Смок. — Страшно смотреть, как они мучаются. Но, кроме работы, я никакого средства не вижу, надо его испробовать до конца. Вот если бы у нас был мешок сырого картофеля...

— Спаркинс не может мыть посуду, — сказал Малыш. — Его прямо корчит от боли. Пришлось его уложить в постель, он и лечь-то сам не мог.

— Вот был бы у нас сырой картофель, — повторил Смок. — В этих сушеных и сгущенных продуктах не хватает чего-то самого главного. Из них жизнь улетучилась.

— А знаешь, или я сильно ошибаюсь, или этот парнишка по фамилии Джонс, из хижины Браунлоу, не дотянет до утра.

— Не каркай, Бога ради, — с упреком сказал Смок.

— А кому придется его хоронить, не нам, что ли? — рассердился Малыш. — Что с этим парнем творится, я тебе скажу, просто ужас...

— Замочи ты, — сказал Смок.

Малыш еще пофыркал сердито и скоро уснул. Смок услышал его тяжелое мерное дыхание.

К утру умер не только Джонс, — один из самых сильных мужчин, работавший накануне в числе дровосеков, повесился. И потянулись длинной чередой дни, похожие на страшный сон. Целую неделю, напрягая все силы, Смок заставлял своих пациентов работать и глотать хвойный отвар. И одного за другим, а то и по двое, по трое сразу, вынужден был освобождать их от работы. Он убедился, что физический труд — плохое лекарство для больных цингой. Похоронная команда таяла, а работы у нее не убавлялось, и пять или шесть могил, вырытых про запас в отогретой кострами земле, всегда были наготове и ждали.

— Вы не могли хуже выбрать место для лагеря, — сказал Смок Лоре Сибли. — Посмотрите, ведь он лежит на самом дне узкого ущелья, идущего с востока на запад. Даже в полдень солнце сюда не заглядывает. Вы месяцами не видите солнечного света.

— Откуда мне было знать?

Смок пожал плечами.

— Надо было знать, раз вы повели сотню дураков за золотом.

Она со злобой посмотрела на него и проковыляла дальше. Смок проведал рабочую команду, которая со стонами собирала еловые ветки, а возвращаясь через несколько минут, увидел, что пророчица вошла в хижину Эймоса Уэнтворта, и последовал за нею. Из-за двери он услыхал, что она хнычет и просит о чем-то.

— Только для меня одной, — умоляла она в ту минуту, когда Смок появился на пороге. — Я никому не скажу...

Оба с виноватым видом оглянулись на нежданного посетителя. Смок понял, что тут что-то кроется, и мысленно выругал себя — зачем не подслушал!

— Выкладывайте! — резко приказал он. — Что у вас тут?

— А что вам нужно? — угрюмо переспросил Эймос Уэнтворт.

И Смок не мог объяснить, что ему нужно.

6

Положение становилось все хуже, все безнадежнее. В этом мрачном ущелье, куда не заглядывало солнце, беспощадная смерть уносила все новые и новые жертвы. Каждый день Смок и Малыш со страхом заглядывали друг другу в рот — нет ли белых пятен на деснах и слизистой оболочке, первого несомненного признака цинги.

— Ну, хватит, — заявил однажды Малыш. — Я все сызнова обдумал — и хватит с меня. Может, из меня кое-как вышел

бы погонщик рабов, но погонять калек — на это я не гожусь. Им день ото дня хуже становится. Я теперь и двадцати человек не могу выгнать на работу. Нынче я отправил Джексона в постель. Он уже готов был покончить с собой. У него это прямо на лице написано. Никакого толку от работы нет.

— И я тоже так решил, — сказал Смок. — Освободим их от работы, оставим только человек десять. Нам нужны помощники. Пускай чередуются, сменяют друг друга. Хвойный отвар надо продолжать.

— Никакого толку от него нет.

— Может быть, и нет, не знаю, но уж, во всяком случае, он им не вредит.

— Еще один покончил с собой, — сообщил Малыш на другое утро. — Филипс, вот кто. Я уже давно видел, что к этому идет.

— Ну что тут будешь делать! — простонал Смок. — Ты что предлагаешь?

— Кто, я? Ничего не предлагаю. Пускай все идет своим чередом.

— Но тогда они все перемрут.

— Кроме Уэнтворта, — проворчал Малыш, который давно уже, как и Смок, не выносил этого субъекта.

Уэнтворт был неизменно здоров, словно заколдованный, и Смок только диву давался. Почему Уэнтворт — единственный в лагере — не заболел цингой? Почему Лора Сибли так ненавидит его и в то же время хнычет и скулит перед ним и что-то у него выпрашивает? Что это она у него выпрашивает, в чем он ей отказывает?

Несколько раз Смок нарочно заходил к Уэнтворту в час обеда. Только одно и показалось ему при этом подозрительным — та подозрительность, с какой встречал его Уэнтворт. Затем он попытался расспросить Лору Сибли.

— Сырой картофель вылечил бы вас всех, — сказал он пророчице. — Я знаю, я уже не раз видел, как он целительно действует.

Глаза ее вспыхнули — в них была и вера, и злоба, и ненависть, и Смок понял, что напал на след.

— Почему вы не привезли с собой на пароходе свежего картофеля? — спросил он.

— Мы везли. Но в Форте Юкон мы его очень выгодно продали. У нас сколько угодно сушеного картофеля, мы знали, что он лучше сохраняется. Он даже не мерзнет.

Смок охнул от досады.

— И вы весь свежий продали? — спросил он.

— Да. Откуда нам было знать?

— И совсем ничего не осталось? Может быть, мешок-другой случайно завалялся где-нибудь в сторонке?

Она замялась на мгновение, покачала головой, потом прибавила:

— Мы ничего не находили.

— А может быть, все же что-нибудь осталось? — настаивал он.

— Откуда я знаю? — скрипучим, злым голосом ответила Лора Сибли. — Я не ведала продовольствием.

— Им ведал Эймос Уэнтворт, — догадался Смок. — Прекрасно. А теперь скажите — это останется между нами, — как по-вашему, не припрятал ли где-нибудь Эймос Уэнтворт немного сырого картофеля?

— Нет. Конечно, нет. Почему бы он стал прятать?

— А почему бы и нет?

Она пожала плечами.

И как ни бился Смок, ему не удалось заставить ее признать, что это могло случиться.

7

— Уэнтворт — свинья, — таков был приговор Малыша, когда Смок сказал ему о своих подозрениях.

— И Лора Сибли тоже, — прибавил Смок. — Она уверена, что у него есть картофель, но молчит об этом и только добивается, чтобы он поделился с нею.

— А он не желает? — Малыш проклял грешный род человеческий в одной из самых блистательных своих бранных импровизаций и перевел дух. — Оба они настоящие свиньи. Пускай Господь Бог в наказание сгноит их в цинге — вот все, что

я имею сказать по этому поводу. А сейчас я пойду и расшибу Уэнтворту башку.

Но Смок был сторонником дипломатических переговоров. В эту ночь, когда все в лагере спало и стонало во сне или, быть может, стонало, не в силах уснуть, Смок постучал у дверей неосвещенной хижины Уэнтворта.

— Выслушайте меня, Уэнтворт, — сказал он. — Вот здесь, в мешке, у меня на тысячу долларов золотого песка. Я один из богатых людей в здешних краях, я могу себе это позволить. Боюсь, что у меня начинается цинга. Дайте мне одну сырую картофелину — и это золото ваше. Вот попробуйте на вес.

Смок содрогнулся от радости: Эймос Уэнтворт в темноте протянул руку и попробовал на вес мешок с золотом. Потом Смок услыхал, как Уэнтворт шарит под одеялом, и почувствовал, что в руку ему вложили уже не тяжелый мешочек, а картофелину; да, это, несомненно, была картофелина величиной с куриное яйцо и теплая оттого, что лежала у Уэнтворта под боком.

Смок не стал дожидаться утра. Они с Малышом боялись, что два самых тяжелых пациента могут умереть каждую минуту, и тотчас отправились в их хижину. В чашке они несли тысячедолларовую картофелину, истертую, размятую вместе с шелухой и приставшими к ней песчинками; и эту жидкую кашицу они по нескольку капель зараз вливали в страшные черные дыры, которые некогда были человеческими ртами. Всю долгую ночь, снова и снова сменяя друг друга, Смок и Малыш давали больным картофельный сок, втирали его в распухшие десны, в которых шатались и постукивали зубы, и заставляли несчастных тщательно глотать каждую каплю драгоценного эликсира.

Назавтра к вечеру в состоянии обоих пациентов произошла чудесная, прямо невероятная перемена. Они уже не были самыми тяжелыми больными в лагере. Через сорок восемь часов, когда была выпита последняя капля картофельного сока, оба они оказались вне опасности, хотя и далеки еще от полного выздоровления.

— Вот что, — сказал Смок Уэнтворту. — У меня есть в этих краях золотоносные участки, мой вексель вам оплатят где угодно. Даю вам до пятидесяти тысяч, по пятьсот долларов за каждую картофелину. Это будет сто штук.

— А золотого песку у вас больше нет? — осведомился Уэнтворт.

— Мы с Малышом наскребли все, что взяли с собой. Но, честное слово, мы с ним стоим несколько миллионов.

— Нет у меня никакого картофеля, — решительно заявил Уэнтворт. — Мне и самому он нужен. Только одна картофелина у меня и была, та, которую я вам отдал. Я берег ее всю зиму, боялся, что заболею. Нипочем бы ее не продал, да мне нужны деньги на дорогу. Когда река вскроется, я поеду домой.

Хоть картофельный сок и кончился, на третий день стало ясно, что те двое, которых им лечили, идут на поправку. Тем, кому сока не давали, становилось все хуже и хуже. На четвертое утро были похоронены еще три страшных тела, изуродованных болезнью. Пройдя через это испытание, Малыш сказал Смоку:

— Ты пробовал на свой лад. Теперь я попробую по-своему.

И он прямиком отправился к Уэнтворту. Что произошло в хижине Уэнтворта, он рассказывать не стал. Когда он вышел оттуда, суставы его пальцев были расшиблены и ободраны, а физиономия Уэнтворта оказалась вся в синяках, и он еще долгое время держал голову как-то боком на искривленной и негнущейся шее. Нетрудно было объяснить это странное явление: на шее Уэнтворта красовались иссиня-черные отпечатки пальцев — четыре пятна по одну сторону и одно — по другую.

Затем Смок с Малышом нагрянули к Уэнтворту, вышвырнули его за дверь прямо в снег и все в хижине перевернули вверх дном. Приковыляла Лора Сибли и тоже стала лихорадочно искать.

— Ничего ты не получишь, старуха, хотя бы мы откопали целую тонну, — заверил ее Малыш.

Но их постигло не меньшее разочарование, чем Лору Сибли. Они даже пол весь изрыли — и все-таки ничего не нашли.

— Я бы стал его поджаривать на медленном огне, он бы у меня живо заговорил, — с полной серьезностью предложил Малыш.

Смок покачал головой.

— Да ведь это убийство, — стоял на своем Малыш. — Бедняги, он же их убивает. Уж прямо взял бы топор, да и рубил бы головы — и то лучше.

Прошел еще день. Смок и Малыш неотступно следили за каждым шагом Уэнтворта. Несколько раз, едва он с ведром в руках выходил к ручью за водой, они словно невзначай направлялись к его хижине, и он поскорей возвращался, так и не набрав воды.

— Картошка у него припрятана тут же в хижине, — сказал Малыш. — Это ясно, как день. Но в каком месте? Мы все перерыли. — Он поднялся и натянул рукавицы. — Я все-таки ее найду, хотя бы мне пришлось по бревнышку растащить эту паршивую лачугу.

Он посмотрел на Смока. Тот не слушал, лицо у него было напряженное, взгляд отсутствующий.

— Что это с тобой? — в сердцах спросил Малыш. — Уж не собираешься ли ты подцепить цингу?

— Просто я стараюсь кое-что вспомнить.

— Что вспомнить?

— Сам не знаю. В том-то и беда. Но это очень важно, только бы мне вспомнить.

— Смотри, брат, как бы тебе не свихнуться, — сказал Малыш. — Подумай, что тогда со мной будет! Дай своим мозгам передышку. Поди помоги мне растащить ту хижину. Я бы ее поджег, да боюсь, картошка спечется.

— Нашел! — выкрикнул Смок и вскочил на ноги. — Вот это я и хотел вспомнить. Где у нас бидон с керосином? Живем, Малыш! Картофель наш!

— А в чем фокус?

— Вот увидишь, — загадочно сказал Смок. — Я всегда тебе говорил, Малыш, плохо, когда человек не знаком с художественной литературой, — она даже на Клондайке полезна. Вот сейчас мы проделаем одну штуку, о которой написано в книге. Я ее читал еще мальчишкой, и это нам очень пригодится. Идем.

Спустя несколько минут в мерцающем зеленоватом свете северного сияния они подкрались к хижине Уэнтворта. Осторожно, бесшумно полили керосином бревенчатые стены и особенно тщательно — дверь и оконные рамы. Потом чиркнула спичка, и они смотрели, как вспыхнуло и разгорелось пламя, освещая все вокруг. Отойдя в тень, они ждали.

Из хижины выскочил Уэнтворт, дикими глазами поглядел на огонь и бросился назад. И минуты не прошло, как он снова появился на пороге; на этот раз он шел медленно, низко пригнувшись под тяжестью огромного мешка. Нетрудно было догадаться, что в этом мешке. Смок и Малыш кинулись на Уэнтворта, точно голодные волки. Они обрушились на него одновременно справа и слева. Он едва не упал, придавленный своим мешком, который Смок для верности наскоро ощупал. Уэнтворт обхватил руками колени Смока и запрокинул к нему мертвенно-бледное лицо.

— Берите все! Оставьте мне дюжину, только дюжину!.. Полдюжины!.. — пронзительно завопил Уэнтворт. Он оскалил зубы и в слепом бешенстве хотел было укусить Смока за ногу, но передумал и опять стал клянчить. — Только полдюжины! — выл он. — Только полдюжины! Я сам хотел вам завтра все отдать. Да, да, завтра. Я сам собирался. Это жизнь! Это спасение! Только полдюжины!

— Где другой мешок? — оборвал его Смок Беллью.

— Я все съел, — ответил Уэнтворт, и ясно было, что это чистая правда. — Здесь в мешке все, что осталось. Берите все. Дайте мне только несколько штук.

— Все съел! — воскликнул Малыш. — Целый мешок! А эти бедняги мрут, потому что у них нет ни единой картофелины! Вот тебе! Вот! Вот! Вот тебе! Свинья! Скотина!

Он с размаху пнул Уэнтворта ногой. Первый же пинок оторвал Уэнтворта от Смока, колени которого он обнимал. Второй опрокинул его в снег. Но Малыш бил еще и еще.

— Побереги пальцы, — только и сказал Смок.

— Ясно, — ответил Малыш. — Я его пяткой. Увидишь, я ему все ребра переломаю. Я ему челюсть сверну. На тебе! На! Эх, жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Ах ты свинья!

Жюль Верн

Отрывок из романа «Мореплаватели XVIII века»

...Байрон ничего не обнаружил во время этого плавания, которое он не мог затягивать на более длительный срок, так как намеревался посетить Соломоновы острова, и снова взял курс на северо-запад. 22 мая на кораблях появилась цинга и стала распространяться с угрожающей быстротой. К счастью, 7 июня на 140°58’ западной долготы с верхушки мачт увидели землю.

На следующий день корабли очутились перед двумя островами, сулившими самые радостные перспективы. Моряки увидели высокие ветвистые деревья, кусты, перелески и сновавших среди них туземцев, которые вскоре собрались на берегу и разожгли костры.

Байрон немедленно отрядил шлюпку на поиски якорной стоянки. Шлюпка вернулась, не обнаружив дна на расстоянии одного кабельтова от берега. Несчастные цинготные больные, с трудом притащившиеся на шканцы, с мучительной завистью рассматривали плодородный остров, где имелось лекарство от их болезни; но доступ к нему преграждала природа.

«Они видели, — говорится в отчете, — бесчисленные кокосовые пальмы, отягощенные плодами, молоко которых является, быть может, самым могучим противоцинготным средством, какое только существует в мире; они не без основания полагали, что там должны расти лимоны, бананы и другие тропические плоды, а в довершение огорчений заметили панцири черепах, лежавших на пляже. Все эти свежие продукты вернули бы их к жизни, но они были так же недосягаемы,

как и в том случае, если бы находились по ту сторону земного шара; видя их перед глазами, они еще сильнее ощущали несчастье оказаться лишенными их».

Байрон решил положить конец танталовым мукам несчастных матросов; дав этой группе островов, принадлежащих к архипелагу Туамоту, название Дисаппойнтемент («Разочарование»), он 8 июня пустился в дальнейший путь. Уже назавтра на горизонте снова показалась земля, длинная, низкая, поросшая кокосовыми пальмами. Посредине простиралась лагуна с маленьким островком на ней. Самый вид указывал на коралловое происхождение этой земли. И на этот раз шлюпка, посланная для промера, обнаружила повсюду обрывистый, крутой, как стена, берег. Тем временем местные жители стали проявлять враждебные намерения. Двое из них влезли даже в шлюпку. Один украл у матроса куртку, другой схватился за край шапочки квартирмейстера; однако, не зная, как завладеть ею, он тащил ее к себе, вместо того, чтобы приподнять, и квартирмейстер успел его оттолкнуть. Две большие пироги с тремя десятками гребцов на каждой стали маневрировать, как бы собираясь напасть на шлюпки, но те немедленно пустились за ними в погоню. В то мгновение, когда пироги уткнулись в берег, завязалась схватка, и англичанам, которых туземцы чуть не одолели своей численностью, пришлось пустить в ход огнестрельное оружие. Три или четыре островитянина были положены на месте.

На следующий день отряд матросов и больные цингой, имевшие достаточно сил, чтобы покинуть койки, высадились на берег. Пока англичане рвали кокосовые орехи и собирали противоцинготные растения, туземцы, напуганные полученным накануне уроком, не появлялись. Свежая зелень и плоды принесли такую пользу, что через несколько дней на кораблях не осталось ни одного больного. Попугаи, совершенно ручные голуби редкой красоты и другие птицы неведомых пород составляли весь животный мир острова, получившего название Кинг-Джордж. Следующий открытый Байроном остров был назван островом Принца Уэльского. Все они составляют часть

архипелага Туамоту, называемого также — очень удачно — Низменными островами.

21 июня показалась новая цепь островов, окруженных кольцом рифов. И снова Байрон воздержался от более подробного ознакомления с ними, так как риск, сопряженный с высадкой, не мог быть оправдан пользой от нее. Байрон назвал этот архипелаг островами Дейнджер (Опасности).

Шесть дней спустя был открыт остров Дьюк-оф-Иорк (герцога Йоркского). Англичане не встретили там жителей, но собрали двести кокосовых орехов, представлявших для них огромную ценность.

Несколько дальше, на 1°18’ южной широты и 173°46’ западной долготы, был открыт изолированный остров, расположенный к востоку от островов Гилберта. Он получил название острова Байрон. Стояла невыносимая жара, и изнуренные длительным плаванием матросы, вынужденные довольствоваться скудной, нездоровой пищей и пить затхлую воду, почти все заболели дизентерией. Наконец, 28 июля Байрон с радостью увидел Сайпан и Тиниан, входящие в состав Марианских или Разбойничьих островов, и стал на якорь в том самом месте, где когда-то остановился «Сенчурион» лорда Ансона.

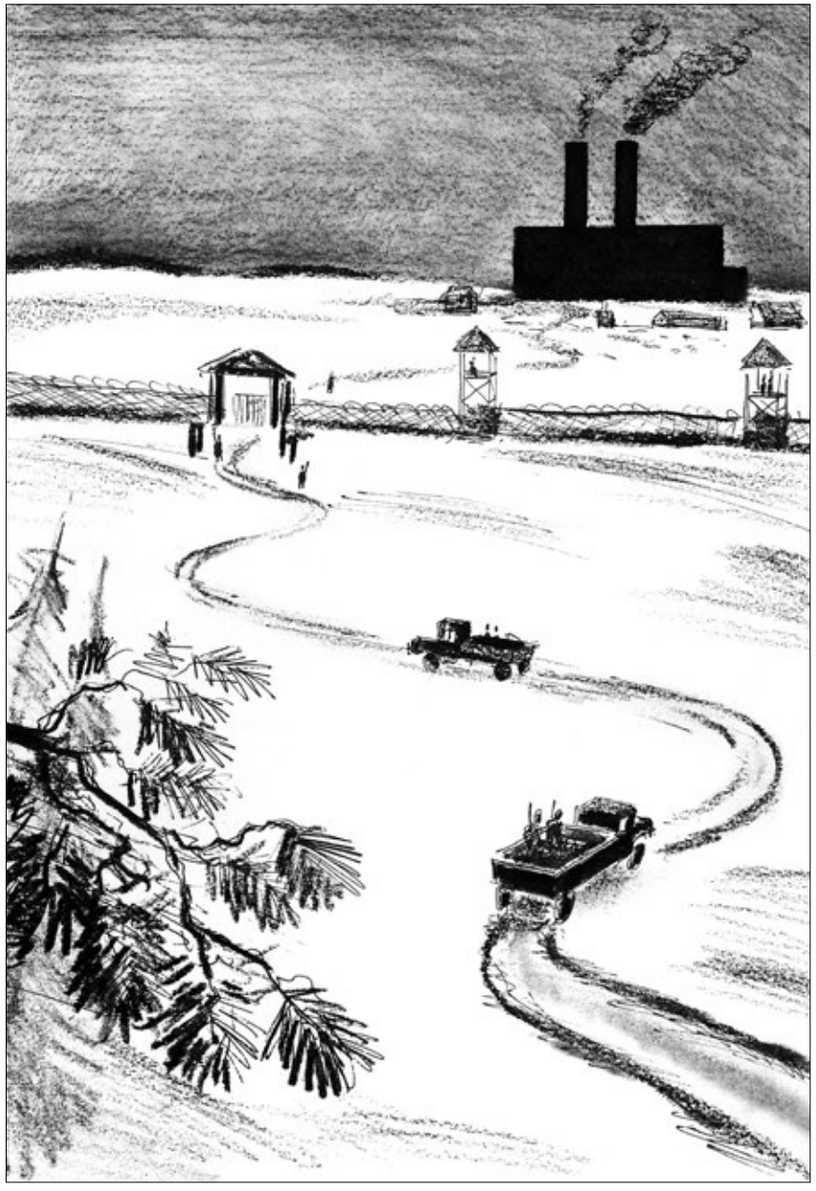
На берегу немедленно разбили палатки для больных цингой. Почти все матросы страдали этой ужасной болезнью; многие находились в очень тяжелом состоянии. Командир решил поэтому проникнуть в глубь густого леса, спускавшегося до самого берега, чтобы отыскать там те чудесные уголки, пленительные описания которых можно было прочесть в книге судового священника, сопровождавшего Ансона. Насколько не соответствовали действительности эти восторженные рассказы! Со всех сторон тянулись непроходимые леса, травянистые заросли и чащи колючего кустарника; пробраться сквозь них можно было лишь оставляя на каждом шагу клочья одежды. Тучи москитов набрасывались на путников и жестоко их кусали. Дичь попадалась редко, и была очень пугливая, вода отвратительная, стоянка в это время года исключительно опасная.

Итак, стоянка началась при неблагоприятных предзнаменованиях. Впрочем, в конце концов удалось найти терпкие померанцы, кокосовые орехи, гуайявы,[42] плоды хлебного дерева и некоторые другие. Все они принесли большую пользу больным цингой, которые вскоре поправились, но болотистые испарения, пропитывавшие воздух, вызвали такие жестокие приступы лихорадки, что два матроса умерли. К тому же дождь лил не переставая и зной стоял невыносимый. «Я бывал, — пишет Байрон, — на побережье Гвинеи, в Вест-Индии и на острове Сан- Томе, лежащем у самого экватора, но нигде не испытывал такой сильной жары».

Жюль Верн

Отрывок из романа «Путешественники XIX века»

«Но по мучительным болям в челюсти, — рассказывает путешественник, — я понял, что заболел цингой. Это тяжелая болезнь, и я испытал все ее ужасы. Нёбо у меня кровоточило, постоянно выпадали кусочки кости. Зубы, очевидно, вовсе не держались в своих лунках, и я жестоко страдал. Я опасался даже, как бы страшные боли в черепе не повлияли на мозг. Более двух недель я ни на мгновение не мог забыться сном».



В. Т. Шаламов

Отрывок из повести «Колымские рассказы»

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою стланика. Заготовка шла вручную, зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед — за этим строго следили. Цинга была повсеместно, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает, и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного средства и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали.

Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено.)

Без зубов

Джованни Боккаччо

Отрывок из сборника новелл «Декамерон»

Относительно третьей вещи дама задумалась более; тем не менее, так как она была большого ума, а Амур сделал ее и еще умнее, она придумала, какого способа ей следует держаться, чтобы достигнуть цели. У Никострата было двое мальчиков, отданных ему их отцами, дабы они, будучи благородного происхождения, научились у него в доме хорошему обращению; один из них разрезал Никострату пищу, когда он был за столом, другой подносил ему пить. Велев позвать их обоих, она уверила их, что у них пахнет изо рта, и научила их, прислуживая Никострату, держать голову как можно более назад, но чтобы о том они никогда никому не говорили. Мальчики, поверив ей, стали делать так, как научила их дама. Поэтому она однажды спросила Никострата: «Заметил ли ты, что делают те мальчики, когда служат тебе?» Никострат сказал: «Разумеется, я даже хотел спросить их, зачем они так делают». — «Не делай этого, я тебе скажу, почему, я долго об этом молчала, чтобы не досадить тебе, но теперь вижу, что другие начинают замечать это, и более нечего от тебя скрывать. Происходит это не от чего другого, как от того, что у тебя страшно пахнет изо рта, и я не знаю, какая тому причина, потому что этого не бывало; а это крайне неприятно, ибо тебе приходится общаться с благородными людьми, потому следовало бы найти средство излечить это». Тогда Никострат сказал: «Что же это может быть? Нет ли у меня во рту какого испорченного зуба?» — «Может быть, что и так, — сказала Лидия и, подведя его к окну, велела ему открыть рот и, осмотрев ту и другую сторону, сказала: — О Никострат, и как мог ты так долго терпеть? У тебя есть с той стороны зуб, кото-

рый, кажется мне, не только испорчен, но совсем сгнил, и если ты сохранишь его еще во рту, он, наверно, испортит тебе те, что сбоку, почему я посоветовала бы тебе выдернуть его, прежде чем это пойдет дальше». Тогда Никострат сказал: «Если тебе так кажется, то и я согласен, пусть тотчас же пошлют за зубным мастером, чтобы выдернуть его». Жена говорит ему: «Не дай бог, чтобы из-за этого приходил мастер, мне кажется, зуб так стоит, что безо всякого мастера я сама его отлично выдерну. С другой стороны, эти мастера так немилосердны в своем деле, что мое сердце никоим образом не вынесло бы — увидеть или знать тебя в руках кого-нибудь из них; потому я решительно желаю сделать это сама, по крайней мере если тебе будет слишком больно, я тотчас же оставлю, чего мастер не сделал бы». Итак, велев принести себе орудия для такого дела и выслав всех из комнаты, она оставила при себе одну Луску; запершись изнутри, она велела Никострату растянуться на столе, всунула в рот клещи и схватила один из его зубов; и хотя он сильно кричал от боли, но так как его крепко держали с одной стороны, то с другой со всей силой вытащен был зуб; спрятав его и взяв другой, совсем испорченный, который Лидия держала в руке, она показала его ему, жаловавшемуся и почти полумертвому, со словами: «Смотри, что ты так долго держал во рту!» Он поверил этому, и хотя вынес страшную муку и сильно жаловался на нее, тем не менее, когда зуб был выдернут, счел себя излеченным; его подкрепили тем и другим, и когда боль унялась, он вышел из комнаты. Взяв зуб, дама тотчас же послала его своему любовнику, который, уверенный теперь в ее любви, объявил, что готов исполнить всякое ее желание.

В. Гюго

Отрывок из романа «Отверженные»

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина вмешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул: «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый».

— Что это еще за резцы у меня? — спросила Фантина.

— Резцы, — важно отвечал зубной лекарь, — это передние зубы. Два верхних зуба.

— Какой ужас! — вскричала Фантина.

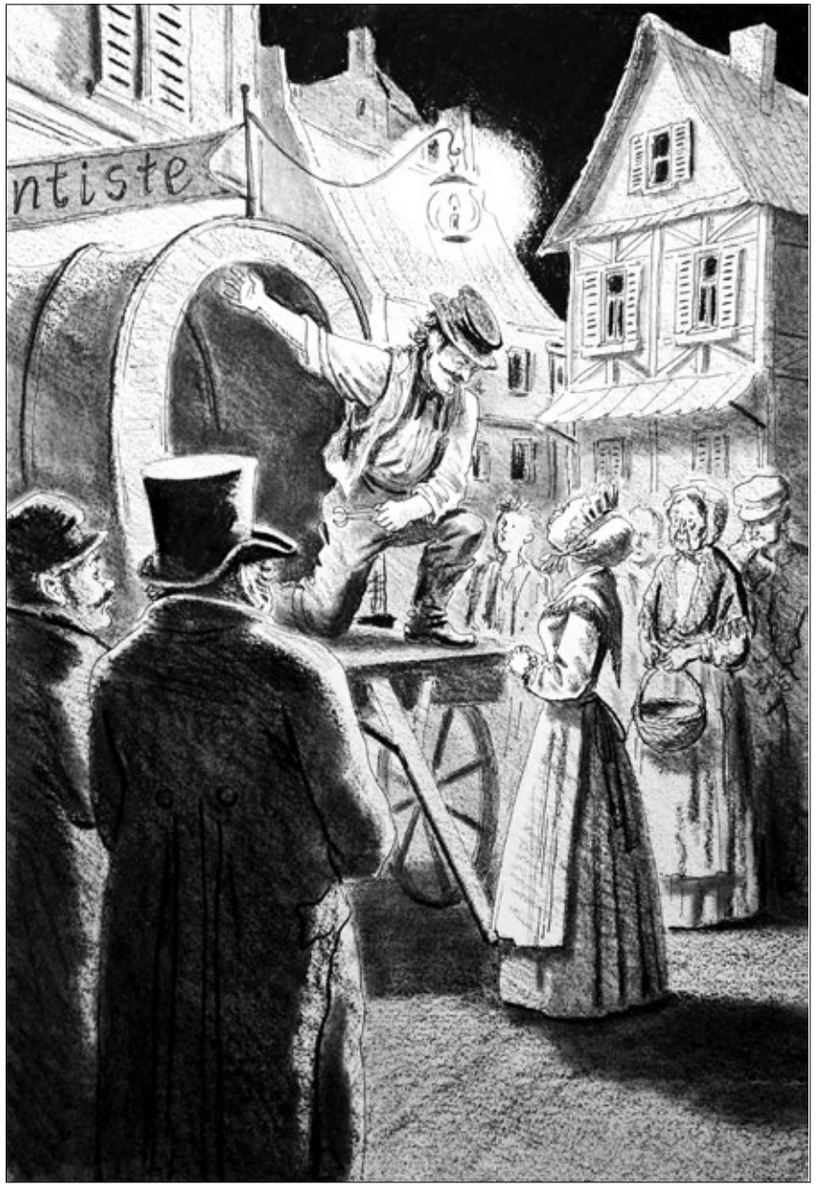
— Два наполеондора! — прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. — И выпадает же людям счастье!

Фантина убежала и закрыла уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

— Поразмысли, красотка! Два наполеондора не валяются на улице. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

— Вы только представьте себе! Это просто какой-то изверг. И как только подобным людям позволяют разъезжать



по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Какое чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

— И сколько он тебе предложил? — спросила Маргарита.

— Два наполеондора.

— Это сорок франков.

— Да, — сказала Фантина, — это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

— Скажите, вы не знаете, что это такое — сыпная горячка?

— Знаю, — ответила престарелая девица, — это такая болезнь.

— И на нее требуется много лекарств?

— О да. Страшно много.

— А что при этом болит?

— Да все болит, все тело.

— И к детям она, значит, тоже пристает?

— О, к детям-то всего чаще.

— А бывает ли, чтобы от нее умирали?

— Сколько угодно, — ответила Маргарита.

Фантина вышла на улицу и еще раз перечитала письмо.

Вечером она вышла из дому, и люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она совсем не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, и от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге и вскричала:

— Господи помилуй! Вся свечка сгорела! Видно, случилось что-то недоброе!

И она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженую голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

— Иисусе! — изумилась Маргарита. — Что это такое с тобой случилось, Фантина?

— Ничего, — ответила Фантина. — Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве на два наполеондора, блестевшие на столе.

— Господи Иисусе! — снова вскричала Маргарита. — Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

— Достала, — ответила Фантина.

И она улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она послала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта не была больна.

А. П. Чехов

Знакомый мужчина

Прелестнейшая Ванда, или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?

Она первым делом отправилась в ссудную кассу и заложила там кольцо с бирюзой — единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета, а без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье, вопрос же о том, что она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее нисколько.

«Хоть бы мужчину знакомого встретить... — думала она. — Я взяла бы денег... Мне ни один не откажет, потому что...»

Но знакомые мужчины не встречались. Их не трудно встретить вечером в «Ренессансе», но в «Ренессанс» не пустят в этом простом платье и без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство: сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег.

«К кому бы сходить? — размышляла она. — К Мише нельзя — семейный... Рыжий старик теперь на службе...»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, выкресте, который месяца три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в Немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать... — думала она, идя к нему. — А не даст, так я у него там все лампы перебью».

Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план: она со смехом взбежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует 25 рублей... Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собою вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях, теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Может быть, он уж забыл про меня... — думала она, не решаясь дернуть за звонок. — И как я пойду к нему в таком платье? Точно нищая или мещанка какая-нибудь...»

И нерешительно позвонила.

За дверью послышались шаги; это был швейцар.

— Доктор дома? — спросила она.

Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет», но тот, вместо ответа, впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела оборвашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а как раньше, Настей Канавкиной...

— Пожалуйте! — сказала горничная, провожая ее в кабинет. — Доктор сейчас... Садитесь.

Ванда опустилась в мягкое кресло.

«Так и скажу: дайте взаймы! — думала она. — Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда. При горничной неловко... И зачем она тут стоит?»

Минут через пять отворилась дверь и вошел Финкель, высокий черномазый выкрест с жирными щеками и с глазами навы-

кате. Щеки, глаза, живот, толстые бедра — всё это у него было так сыто, противно, сурово. В «Ренессансе» и в Немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе, много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки (например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем); теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал.

— Что прикажете? — спросил он, не глядя на Ванду.

Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не узнавал ее, и покраснела...

— Что прикажете? — повторил зубной врач уже с раздражением.

— Зу... зубы болят... — прошептала Ванда.

— Ага... Какие зубы? Где?

Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом.

— Внизу направо... — сказала она.

— Гм!.. Раскрывайте рот.

Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб.

— Больно? — спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой.

— Больно... — солгала Ванда. — «Напомнить ему, — думала она, — так он наверное бы узнал... Но... горничная! Зачем она тут стоит?»

Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал:

— Я не советую вам плюмбуровать его... Из етова зуба вам никакого пользы, всё равно.

Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным... Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

— Ничего, ничего... — бормотал он. — Вы не пугайтесь... Из этим зубом вам всё равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные, окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку.

— Дома вы холодной водой рот полоскайте... — сказал Финкель, — и тогда кровь остановится...

Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же наконец уйдут, оставят его в покое...

— Прощайте... — сказала она, поворачиваясь к двери.

— Гм!.. А кто же мне заплатит за работу? — спросил смеющимся голосом Финкель.

— Ах, да... — вспомнила Ванда, покраснела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой.

Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год — всю жизнь, до самой смерти...

— О, как это страшно! — шептала она. — Как ужасно, боже мой!

Впрочем, на другой день она уже была в «Ренессансе» и танцевала там. На ней была новая, громадная, красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани.

1886 год.

Г. Белль

Отрывок из романа «Дом без хозяина»

Дантист открыл дверь в гостиную и сказал:

— Присядьте, пожалуйста, фрау Брилах.

Мальчик, примерно одних лет с ее сыном, сидел за роялем и что-то уныло бренчал.

— Выйди на минутку, — сказал врач.

Мальчик немедленно исчез, оставив на желтоватых клавишах раскрытую нотную тетрадь. Она устало взглянула на заголовок и прочла: «Этюды. Опус 54». Врач, вздохнув, сел за черный письменный стол мореного дуба, порылся длинными пальцами в картотеке, вытащил ее карточку, перелистал какие-то белые бумажки, подколотые к ней, и сказал:

— Не пугайтесь, пожалуйста, я здесь прикинул цену.

Он со вздохом взглянул на нее, а она смотрела на картину, висевшую за его спиной на стене: «Ункель в солнечный день». Много пронзительно желтой краски извел художник, чтобы придать Рейну, виноградникам и живописному городку солнечный вид, но напрасно: Ункель выглядел совсем не солнечно.

Врач достал из ящика стола пачку табаку, разорвал серебряную обертку и, все еще вздыхая, начал медленно сворачивать толстую сигарету. Он придвинул табак и бумагу к ней, но она покачала головой и тихо сказала:

— Спасибо, не хочу.

Она охотно закурила бы, но у нее болел весь рот: врач чем-то едким намазал ей десны и выстукал никелированным молоточком зубы, а потом, качая головой, начал резко и энергично массировать десны своими тонкими пальцами и все

не переставал покачивать головой. Он разложил бумажки перед собой, затянулся и вдруг сказал:

— Не пугайтесь, пожалуйста, но это будет вам стоить тысячу двести марок.

Она перевела взгляд на «Ункель в солнечный день», она слишком устала, чтобы испугаться: она рассчитывала на пятьсот, ну, шестьсот марок, но скажи он теперь две тысячи — это показалось бы ей ничуть не хуже, чем тысяча двести. Пятьдесят марок это большие, очень большие деньги, но все, что свыше полутораста, было для нее одинаково недосягаемо, — все равно сколько — две сотни, две тысячи или даже больше. Врач глубоко втянул дым: у него был крепкий, свежий табак.

— Я мог бы сделать это и за восемьсот, даже за семьсот, но тогда я не могу дать гарантии. А так я вам ручаюсь, что зубы будут выглядеть как настоящие. Вы, конечно, видели зубы из дешевой пластмассы, они ведь синеватые.

Да, она их видела и находила безобразными, такие были у Люды — хозяйки кондитерского магазина, и когда та улыбалась, ее зубы отливали синевой, сразу видно было, что они искусственные.

— Попробуйте обратиться в ведомство социального обеспечения и, пожалуй, в благотворительную организацию. Может быть, вам повезет, и они вам чем-нибудь помогут. Я приготовил для вас две сметы — одну из них на восемьсот марок, потому что если показать им ту, что дороже, можно вообще ничего не получить. Если вам очень повезет, вы получите в общей сложности марок пятьсот: зубы сейчас выпадают у очень многих. Сколько вы могли бы вносить ежемесячно?

Она до сих пор еще выплачивает за конфирмацию Генриха — восемь марок в неделю. Лео уже и так ругается. А кроме того, ей на некоторое время придется бросить работу — не станет же она выходить из дому без зубов, она закроется у себя, обмотает лицо платком и только потихоньку вечерами будет с укутанной головой ходить к врачу. Женщина без зубов — это просто ужас. Ни один посторонний не будет заходить к ней в комнату, даже Генриху она не покажется. А про Лео и говорить нечего. Вырвать тринадцать зубов! Люда тот раз вырвала всего шесть и то выглядела, как древняя старуха.

— А кроме того, — продолжал врач, — я хотел бы получить минимум триста марок задатка, а второй взнос принесете, как только получите деньги от ведомства социального обеспечения и в благотворительной кассе. Вот почти половина и выплачена. Вы прикинули, сколько сможете платить ежемесячно?

— Да марок двадцать, — устало сказала она.

— Господи боже мой, так вы и за год все не выплатите!

— Ничего у нас не выйдет, — сказала она, — мне и задаток не потянуть.

— Но вы должны сделать себе зубы, — сказал он, — должны, и как можно скорей. Женщина вы молодая, интересная, и если будете откладывать, это выйдет дороже и хуже.

Вряд ли он был намного старше ее, и выглядел он как мужчина, который в ранней молодости был красивым: темные глаза и светлые волосы, но лицо у него было усталое, обрюзгшее, и волосы уже поредели. Он лениво вертел в руках счет.

— Я не могу, — тихо сказал он, — я никак не могу иначе. Я должен заранее оплатить материал, рассчитаться с техником. Я не могу. Я с радостью сделал бы вам это немедленно, я ведь знаю, как это для вас ужасно.

Она верила ему: он сделал ей несколько уколов в десны и брал для уколов пробные ампулы и ничего за все это не посчитал, и рука у него была легкая, спокойная и уверенная. Страшным показался только укол в болезненно податливые десны, а жидкость из ампулы собралась твердым комком и рассасывалась очень медленно, но уже полчаса спустя боль утихла, и она почувствовала себя бодрой, молодой и здоровой.

— Еще бы, — ответил он, когда она рассказала о своем состоянии, — ведь это гормоны и прочие вещества, которых не хватает вашему организму, — превосходное средство, совершенно безвредное, но очень дорогое, если приходится его покупать.

Она встала, застегнула пальто и заговорила тихо, боясь расплакаться. Рот все еще болел, а безнадежно высокая цена была

окончательна, как смертный приговор; через два месяца, самое большее, у нее выпадет тринадцать зубов, а это значит, что жизнь окончена. Больше всего на свете Лео ненавидит плохие зубы; у него у самого ослепительно белые, совершенно здоровые зубы, с которыми он много возится. Застегивая пальто, она повторяла про себя название своей болезни; оно звучало так же страшно, как смертельный диагноз: парадонтоз.

— Я вам сообщу, — сказала она.

— Возьмите с собой смету. Вот настоящая, а вот другая, в трех экземплярах. Вам придется приложить по одному экземпляру к каждому заявлению, а третий вы оставите себе, чтобы знать цену.

Врач свернул еще одну сигарету. Пришла сестра, и он сказал ей:

— Позовите Бернгарда, пусть играет.

Она сунула сметы в карман пальто.

— Не унывайте, — сказал врач и горько улыбнулся. Улыбка была тусклая, как солнце над Ункелем.

Лео сейчас дома, а ей не хотелось видеть его. У Лео такие ослепительно здоровые зубы, и уже несколько месяцев он ворчит, что у нее зубы плохие, что у нее запах изо рта, и она ничего не может поделать. Его жесткие, чисто вымытые руки изо дня в день касаются ее тела, глаза у него такие же жесткие, неумолимые, как и руки. Он просто расхохочется, если она попросит у него денег. Он лишь изредка дарит ей что-нибудь, да и то когда бывает при деньгах и сильно расчувствуется.

В подъезде было темно, тихо и пусто, она остановилась на площадке лестницы и попыталась представить себе зубы кондитера: у него определенно плохие зубы; она, правда, не очень к ним присматривалась, но запомнился их безжизненно серый цвет.

Сквозь тусклое оконное стекло она выглянула во двор; там разносчик укладывал в тележку апельсины: он вынимал их из ящика и клал большие — направо, маленькие — налево, потом разложил маленькие по дну тележки, на них положил те, что побольше, а самыми крупными завершил пирамидку.

Маленький толстый мальчуган сложил ящики возле помойной ямы. Там в тени под стеной догнивала куча лимонов — желтизна, подернутая зеленью, и на зелени белые пятна в синеватой тени, от которой красные щеки мальчика казались фиолетовыми. Боль во рту утихла, ей захотелось выкурить сигарету, выпить чашку кофе, и она достала кошелек. Изношенная серая замша залоснилась до черноты; это был еще подарок мужа, чьи кости уже давно истлели где-то между Запорожьем и Днепропетровском. Тринадцать лет тому назад подарил он ей этот парижский кошелек, — подарил смеющийся фельдфебель с цветной фотографии, смеющийся слесарь, смеющийся жених, — не много осталось от него — истрепанный кошелек, память о его первом причастии, и пожелтевшая истрепанная брошюрка «Что должен знать автослесарь при сдаче экзамена на подмастерье». Еще он оставил сына, вдову и когда-то серый, а теперь до черноты залоснившийся замшевый кошелек — подарок из Парижа, с которым она никогда не расставалась.

Странное письмо пришло тогда от ротного командира: «...был направлен со своим танком на поддержку крупной разведывательной операции и не вернулся с задания. Однако нам совершенно точно известно, что ваш супруг, бывший одним из самых опытных и надежных солдат в роте, не попал в плен к русским. Ваш супруг пал смертью храбрых». Ни часов, ни солдатской книжки, ни обручального кольца — и не в плену. Что же с ним? Сгорел и обуглился в своем танке?

Письма, которые она посылала командиру роты, вернулись спустя полгода обратно с надписью: «Погиб за Великую Германию». Другой офицер написал ей: «Мне очень жаль, но я вынужден довести до вашего сведения, что у нас в части не осталось ни одного человека, который мог бы рассказать вам о гибели вашего мужа». Обуглившаяся мумия между Запорожьем и Днепропетровском.

В. Я. Шишков

Зубодерка

Приемный покой в сельской больнице. Пятница — зубодерный день.

Фельдшер Быкобразов, с мясистыми, оголенными по локоть руками, просовывает крепколобую голову в дверь, кричит:

— Эй, чья очередь!

Больных зубами много, у всех от страха сосет под ложечкой: фельдшер не лечит зубы, а рвет. Первая очередь старика Шумейко, у него щека подвязана красным огромным платком, он безостановочно, монотонно и размеренно охает.

— Иди, дедка, иди... — подбадривают его больные.

Науменко усердно перекрестился: — Ох-ох-ох-ох!.. — и, шоркая старыми ногами, входит, как на лыжах, в кабинет.

— Рот! — командует фельдшер. — Ширше! Еще ширше... Открывай на полный ход!

Клещи хватают за больной клык. Дерг-дерг — на месте, крепко. Фельдшер недовольно крякнул. Дерг-дерг-дерг. Старик закатил глаза, затопал, как в барабан, в пол пятками.

— Не грызи струмент! Ты конь, что ли...

Фельдшер вновь тужится, на воловьем лбу наливается жила.

— Тьфу! — плюет он и бросает клещи. — Это не зуб, а свая. Конечно, я мог бы рвануть еще сильнее, но тогда совместно с зубом вся скула вылетит. Ф-у-у-у...

Старик, заохав, хватается за щеку, мотает, как пудель, головой и не торопясь подвязывает платок.

— Ох, ох, ох... К седьмому к тебе, кормилец, к седьмому. В Харьков ездил, шестеро тянуло... Ау, не взять. Ну, и зубище по грехам моим бог послал. Ох, ох, ох, ох...

Фельдшер посмотрел ему вслед сконфуженно-удивленным взглядом и крикнул в приемную:

— Следующий!

Держась за руки, как в хороводе, вошли три девушки.

— Зубы у нас... Дырки... Как соленое попадет в рот, аминь. Кронька с фабрики толковал, будто заделать можно дырки-то...

— Ну, уж извините, — развел Быкобразов руками, пригнув голову к левому плечу. — Я не спец, чтобы с вашими дырками валандаться. Пускай выписывают дантиста, сто разов им говорено. А я по своей специальности: нарыв вскрыть — пожалуйте, брюхо схватило — милости прошу, глиста ежели — и глисту долой. Что касаемо зубов — рвать и никаких. Садись в порядке живой очереди!

Маньке высадил зуб легко, даже прозевала крикнуть и заорала, когда зуб уже валялся на полу. Таня же стала кричать спозаранку, когда Быкобразов засучил повыше рукава и взял в руки клещи. Несчастной Ксюше по ошибке вырвал ядреный крепкий зуб, сказав:

— Эх, черт... Осечку дал, темно. Ну, не ори, новый вырастет. Этот, что ли? — второй зуб высадил легко.

— Следующий!

Очередь за рыжебородым местным торговцем Пантюхиным, но он страха ради заявил, что пойдет последним, и, забившись в угол, тянул коньяк.

Пред фельдшером стоял весь прокоптевший слесарь:

— Зубы у меня здоровецкие, гвоздь перекушу, вот какие зубы. А в двух зубах, действительно, дырочки чуть-чуть. Ноют, анафемы, хошь стой, хошь падай. Нельзя ли пломбы сделать, чтобы форменно...

— Садись, садись... Пломбы. Много я смыслю в пломбах.

Слесарь сначала кукарекал, как петух, потом взревел мартовским кошачьим мяком. Уходя, зализывал языком пустые средь зубов места и сквозь слезы раздраженно бросал в приемной:

— Ну, и дьявол... За этот год пять зубов у меня выхватил... Тьфу! После этакого озорства в роте голо будет, как у младенца в пазухе...

К концу приема фельдшер был окончательно измучен; хромоногий старик Вавилыч, сторож, два раза выносил в помойку вырванные зубы.

— Пожалуйте, Лука Григорьич... Чем могу служить? — учтиво и улыбчиво сказал фельдшер, обращаясь к жирному Пантюхину.

Пантюхин был совершенно пьян. Он запыхтел, заохал:

— Отец родной, ангел... То есть в революцию был под пулеметным огнем, и то нипочем. Ну, теперича не приведи бог, боюсь...

— Что вы, что вы!.. Самые пустяки... Пажалте... Сторож, подсоби господину купцу сесть.

Колченогий Вавилыч цепко облапил купца за обширную талию.

Купец совался носом во все стороны и возил на себе маленького Вавилыча.

— Легче! — кричал тот. — Лапу отдавил... Неужто не видишь, где зубной кресел упомещается?

Купец, что-то бормоча, повалился в кресло.

— Ну, вот, — сказал фельдшер и щелкнул клещами, как парикмахер ножницами.

От вида блестящей стали купец едва не лишился чувств: лицо его исказилось ужасом, он замотал головой, замычал и, упираясь пятками, отъехал вместе с креслом прочь.

— Ой, милай... Дорогой... Христом-богом прошу, лучше убей меня, — и рыжебородый детина, скосоротившись, пьяно завсхлипывал. — Бо... бо... боюсь... Стра... страшно...

В это время в приемную ввалилась копной широкая присадистая тетка. Большие, навыкате глаза ее измучены и злы, как у черта. Она заохала басом и стала разматывать шаль.

В кабинете, за дверью, раздался душераздирающий рев и матерная брань. Это — купец. Тетка сразу схватилась за щеку и заохала пуще.

Но вот открылась дверь; в сопровождении фельдшера вышел, покачиваясь, купчина, он нес на растопыренной ладони трехпалый зубище и, радостно посмеиваясь, говорил улыбающемуся фельдшеру:

— Ах, до чего приятно... До чего легкая у тебя рука, понимаешь... Ах...

Тетке вдруг стало тоже радостно, она поклонилась фельдшеру в пояс.

— Иди, — сказал тот, — хотя я ужасно устал, но для тебя, Мироновна, готов... Но только чур — самогоночкой своего разлива уважь... Чуешь, где ночуешь?

Фельдшер на этот раз орудовал, очевидно, ловко на особицу и очень расторопно, потому что купец Пантюхин еще не успел выбраться на открытый воздух, как мимо него, словно царь-пушка, прогромыхала самокатом вниз по лестнице толстобокая тетка.

Она молча понеслась вдоль вечерней безлюдной улицы, отчаянно суча локтями. Глаза ее вытаращены и безумны, из крепко стиснутого рта торчала, как рог, стальная загогулина.

За теткой, задыхаясь и пыхтя, гнался фельдшер Быкобразов, за фельдшером, угловато подпираясь согнутой ногой, — Вавилыч.

— Тетка, тетка... Мироновна! — взывал фельдшер. — Струмент отдай!.. Казенный... Тетка!

Ополоумевшая тетка, добежав до середины моста, выплюнула закушенные клещи и на весь свет истошно:

— Ка-ра-ууууул...

1923 год.

М. М. Зощенко

Зубное дело

С этого года у Егорыча зубное дело покачнулось. Начали у него зубы падать.

Конечно, годы идут само собой. Организм, так сказать, разрушается. Кость, может быть, по непрочности довоенного материала выветривается.

Одним словом, у Иван Егорыча Колбасьева, проживающего в нашем доме, начали с этого года зубы крошиться и выпадать.

Один-то зуб ему, это верно, выбили при разговоре. А другие самостоятельно начали падать. Так сказать, не дожидаясь событий. Скажем, жует человек или говорит о заработной плате и вообще рядом поблизости никаких людей нету, а зубы сыпятся. Прямо удивительно. Шесть зубов в короткое время потерял.

Но только Егорыч этого никогда не боялся. Он не боялся остаться без зубов. Человек он застрахованный. Ему всегда обязаны на свое место зубы поставить.

С этими мыслями он так и жил на свете. И всегда говорил:

— Я говорит, зубами никогда не стесняюсь. Мне выбивать можно. По другому предмету или по носу я никогда не позволю себя ударить, а зубное дело у меня тихое и спокойное. У нас, у застрахованных, завсегда полное спокойствие в этом смысле.

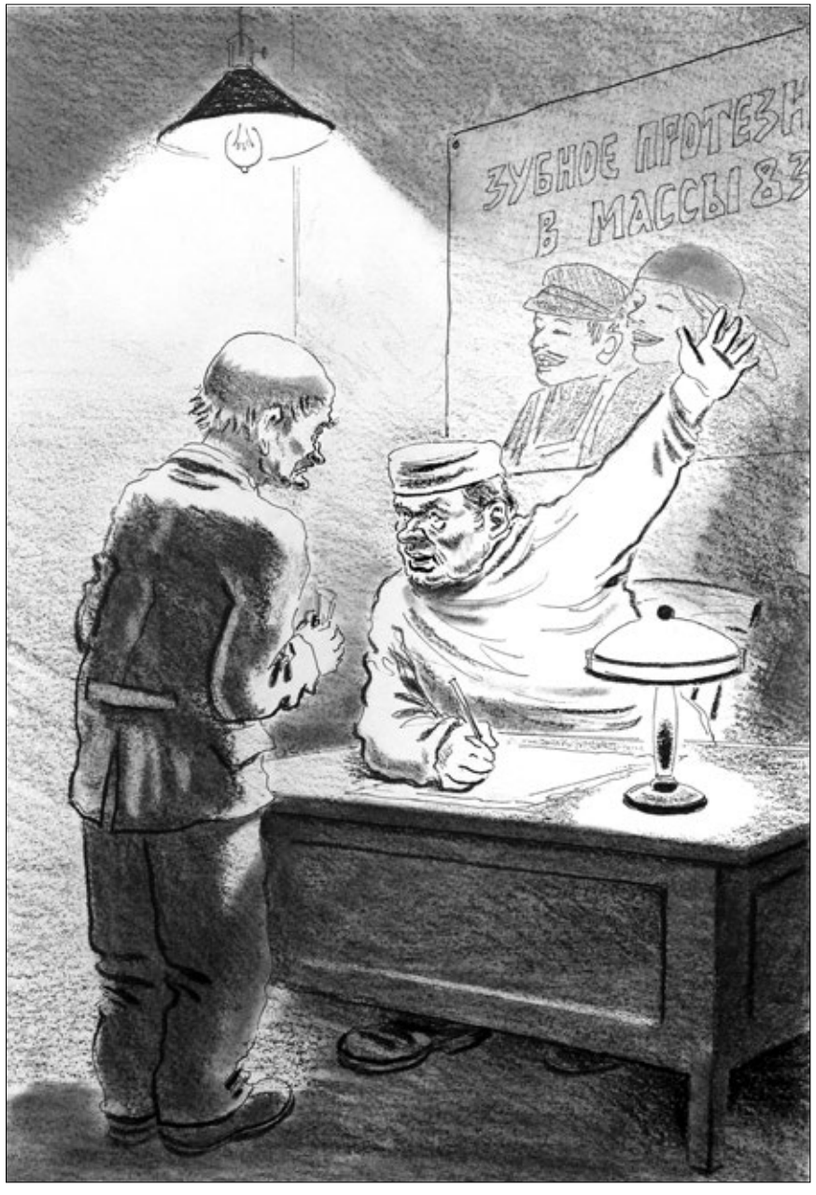
И когда, значит, Иван Егорыч потерял шесть зубов, тогда он решил устроить себе капитальный ремонт. Захватил он с собой документы и пошел, кажется, что в клинику.

В клинике ему говорят:

— Пожалуйста. Можно поставить. Только у нас правило: восемь зубов должно не хватать. Ежели больше — ваше счастье, наше несчастье. А мелкими подрядами клиника не занимается. Такой закон для застрахованных.

Егорыч говорит:

— У меня шесть.



— Нету, говорят, невозможно тогда, товарищ. Подождите своего времени.

Тут Егорыч даже рассердился.

— Да, что ж это, говорит, поленом что ли мне остальные зубы вышибать?

— Вышибать, говорят, не надо. Зачем же природу портить. Обождите, может, на ваше счастье они сами выпадут.

В полном расстройстве чувств пошел Егорыч домой.

— Такое, думает, было спокойное зубное дело и какие, знаете, неожиданности.

Начал Егорыч ждать, когда выпадут у него эти лишние незаконные зубы.

Вскоре один выпал. А другой Егорыч начал рашпилем трогать — подчищать и тоже сковырнул со своего насиженного места.

Побежал Егорыч в клинику.

— Теперича, говорит, как в аптеке — в аккурат 8 зубов.

— Пожалуйста, говорят, ему, теперь совершенно можно. У вас как, подряд 8 зубов не хватает, или как? А то у нас правило: надо, чтоб подряд не хватало. Если не подряд, а в разных местах, то мы не беремся — потому, такой зубной гражданин жевать еще может. Егорыч говорит:

— Нету. Не подряд.

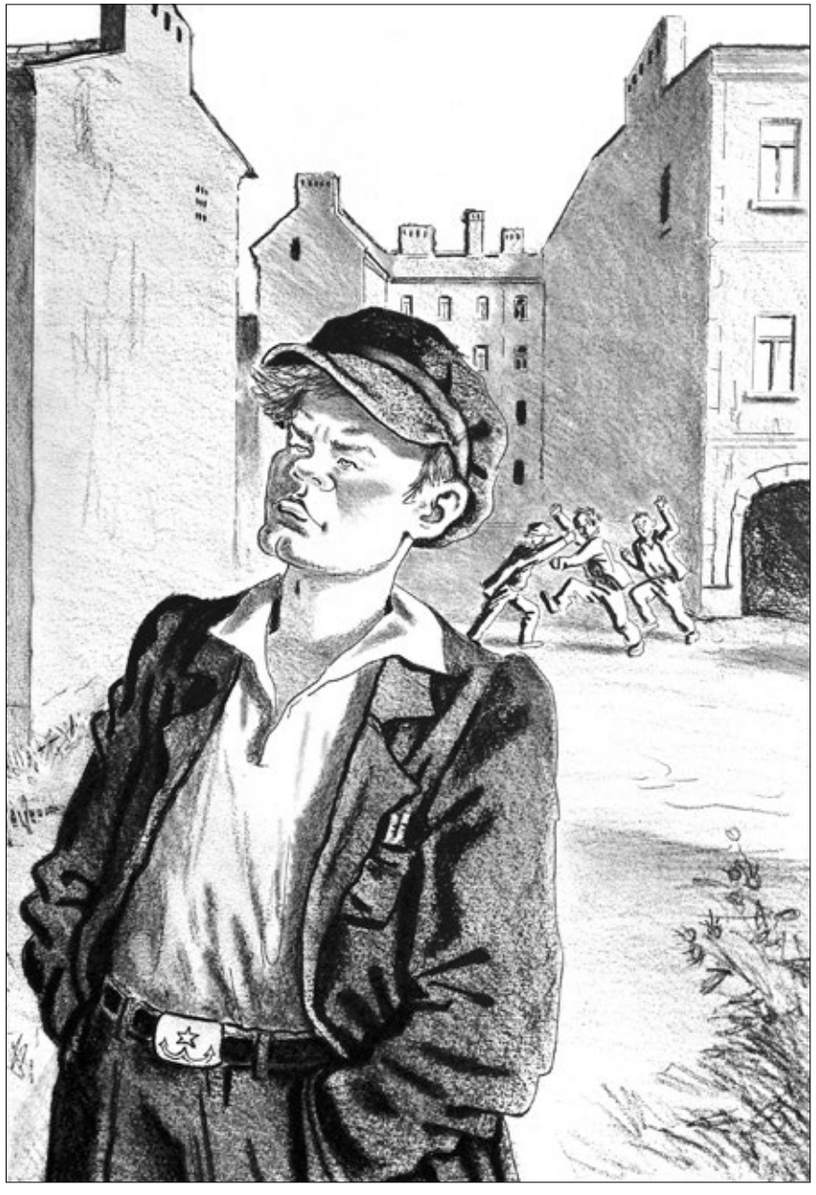
— Тогда, говорят, не можем.

Ничего на это Егорыч не сказал, только заскрипел остатними зубами и вышел из клиники.

— Эва, думает, какие неожиданности. Такое было аккуратное душевное состояние, а теперь ничего подобного.

Сейчас Егорыч живет тихо, пищу ест жидкую и остатние свои зубы чистит щеточкой три раза в день. В этом отношении клиническое правило обернулось выгодно.

1927 год.



М. М. Зощенко

Социальная грусть

Давно я, братцы мои, собирался рассказать про комсомольца Гришу Степанчикова, да все как-то позабывал. А время, конечно, шло.

Может, полгода пробежало с тех пор, когда с Гришей произошла эта собачья неприятность.

Конечно, уличен был парнишка во вредных обстоятельствах — мещанские настроения и вообще подрыв социализма. Но только дозвольте всесторонне осветить эту многоуважаемую историю.

Произошло это, кажется, что в Москве. А может, и не в Москве. Но сдается нам, что в Москве. По размаху видим. Однако, точно не утверждаем, «Красная газета» в подробности не вдавалась. Только мелким полупетитом отметила — дескать, в Семеновской ячейке.

А было это так. В Семеновской, то есть, ячейке состоял этот самый многострадальный Гриша Степанчиков. И выбили как-то раз этому Грише три зуба. По какому делу выбили — опять же нам неизвестно. Может, излишки физкультуры. А может, об дерево ударился. Или, может быть, в младенческие годы сладкого употреблял много. Только знаем, что не по пьяной лавочке кинули ему зубы. Не может этого быть.

Так вот живет этот Гриша без трех зубов. Остальные все стоят на месте. А этих, как на грех, нету...

А парень молодой. Всесторонний. Неинтересно ему, знаете, бывать без трех зубов. Какая же жизнь с таким отсутствием? Свистеть нельзя. Жрать худо. И папироску держать нечем. Опять же шипит при разговоре. И чай выливается.

Парень уже так и сяк — и воском заляпывал, и ситником дырку покрывал, — никак.

Сколотил Гриша деньжонок. Пошел к врачу.

— Становьте, — говорит, — если на то пошло, три искусственных зуба.

А врач попался молодой, неосторожный. Не вошел он в психологию Семеновской ячейки. Врач этот взял и поставил Грише три золотых зуба.

Действительно, слов нет, вышло богато. Рот откроет — картинка. Загляденье. Ноктюрн.

Стали в ячейке на Гришу коситься. То есть, как рот откроет человек, — говорит или шамает, — так все глядят. Дескать, в чем дело? Почему такое парень обрастает?

Мелкие разговорчики пошли вокруг события. Откуда, дескать, такие нэпмановские замашки? Почему такое мещанское настроение? Неужели же нельзя простому комсомольцу дыркой жевать и кушать?

И на очередном собрании подняли вопрос — допустимо ли это самое подобное. И вообще постановили:

«Признать имение золотых зубов явлением, ведущим к отказу от социализма и его идей, и мы, члены ВЛКСМ Семеновской ячейки, объявляем против ихних носителей борьбу, как с явлением, разрушающим комсомольские идеи. Зубы — отдать в фонд безработных. В противном случае вопрос будет стоять об исключении из рядов союза» («Красн. Газ.»).

Тут председатель от себя еще подбавил пару. Мужчина, конечно, горячий, невыдержанный. Наговорил много горьких слов.

— Я, — говорит, — даром, что председатель, и то, — говорит, — не замахиваюсь на золотые безделушки. А у меня, — говорит, — давно заместо задних зубов одни корешки торчат. И ничего — жую. А как жую — один бог знает. Пальцами, может, помогаю, жевать, то есть. Но не замахиваюсь.

Всплакнул, конечно, Гриша Степанчиков. Грустно ему отдавать такие зубы в фонд безработных. Начал объяснять: дескать, припаяны, выбивать трудно.

Так и не отдал.

А поперли его из союза или нет — мы не знаем. Сведений по этому делу больше не имели. Но, наверное, поперли.

1927 год.

М. М. Зощенко

Авантюрный рассказ

1. Таинственная западня

На площадке четвертого этажа человек остановился. Он пошарил в карманах, вынул спички и чиркнул. Желтое, короткое пламя осветило медную дверную дощечку. На дощечке было сказано буквально следующее: «Зубной врач Яков Петрович Шишман».

— Здеся, — прошептал незнакомец. И, не найдя звонка, постучал ногой в дверь.

Вскоре щелкнул французский замок, и дверь бесшумно раскрылась.

— Звиняюсь, зубной врач принимают? — спросил незнакомец, с осторожностью входя в полутемную прихожую.

— Вам придется немного обождать, — сухо ответил врач. — У меня сейчас пациент.

— Ну что ж, можно обождать, — добродушно согласился незнакомец.

Врач острым сверлящим взглядом посмотрел на незнакомца и, недобро усмехнувшись, добавил:

— Прошу вас пройти в столовую. Следуйте за мной.

И едва незнакомец сел, как врач, быстро обернувшись назад, выскочил из комнаты и захлопнул за собой тяжелую, массивную дверь.

Раздалось зловещее щелканье замка.

Незнакомец смертельно побледнел и пытливым взглядом окинул помещение. Комната была почти пуста. Кроме стола, покрытого скатертью, и пары деревянных стульев, ничего в ней не было.

2. Врач принимает незнакомца

Через двадцать минут зубной врач Яков Шишман принял незнакомца.

— Я очень извиняюсь, — сказал врач, — что мне пришлось закрыть вас в столовой. Прислуги у меня, видите ли, нету. А знаете, какое нынче времечко? Давеча у меня пациенты два пальто с вешалки унесли. Перед тем — шубу... А сегодня, знаете, один дьявол последнюю медную плевательницу из прихожей вынес. Прямо хоть бросай работу. Пока тут, знаете, возишься с пациентом, ожидающие выносят. Приходится принимать такие меры... Я очень извиняюсь... Откройте рот.

— Хм, — неопределенно сказал незнакомец и открыл рот.

3. Чистая работа

Незнакомец вышел на улицу, остановился у фонаря и саркастически усмехнулся.

— Тэк, — сказал незнакомец, — посмотрим теперича что за дерьмо.

Он вынул из-под пальто столовую скатерть и развернул ее.

— А скатеришка-то дрянь. Латаная скатеришка, — прошептал сквозь зубы незнакомец и с остервенением сплюнул.

Затем потоптался на месте и пробормотал:

— Ну, пес с ней, какая есть! Окроме ее ни черта же не было. Не стулья же, граждане, выносить.

Незнакомец махнул рукой и побрел дальше.

1924 год.

С. Я. Маршак

Зубная быль

В дверь поликлиники зубной
Вбежал взъерошенный больной,
Большим обвязанный платком
С торчащим кверху узелком.

Был у него жестокий флюс,
Перекосивший правый ус.

А слева был такой же флюс,
Перекосивший левый ус.

Больной был сумрачен и зол:
Два зуба вырвать он пришел,
Два крайних зуба с двух сторон, -
Как говорится, — с корнем вон!

— В какой пройти мне кабинет?
Спросил он даму средних лет.
Но услыхал в ответ слова:
— Зарегистрируйтесь сперва.

— Вы что, смеетесь надо мной? —
Взревел в отчаянье больной.
— Простите, я, быть может, груб,
Но сто чертей сверлят мой зуб!
В ответ - бесстрастные слова;
— Зарегистрируйтесь сперва.

Идет он, проклиная свет,
К другой особе средних лет
И ждет, пока, припудрив нос,
Она начнет чинить допрос.

— Где родились? Вам сколько лет?
Лечились раньше или нет?
Национальность. Должность. Стаж.
Образованье. Адрес ваш...

Вопросов, двадцать задала
Особа, сидя у стола.
Когда ж спросила наконец:
— Болел ли корью ваш отец? —

Больной сорвал с распухших щек
Узлом завязанный платок
И, привязав шпагат к зубам,
Себе два зуба вырвал сам...

Два крайних зуба с двух сторон, —
Как говорится, — с корнем вон!

Впервые в журнале «Крокодил»,
1955 год, № 20.

Неизвестный автор

Цилиндром на солнце сверкая...

Цилиндром на солнце сверкая,
Надев самый лучший сюртук,
По летнему саду гуляя,
С Маруськой я встретился вдруг.

Гулял я с ней четыре года,
На пятый я ей изменил.
Однажды в сырую погоду
Я зуб коренной застудил.

От этой немыслимой боли
Три дня, как безумный, рыдал,
К утру, потеряв силу воли,
К зубному врачу побежал.

Схватил меня доктор за горло,
Связал мои руки назад,
Четыре здоровые зуба
Он выхватил с корнем подряд.

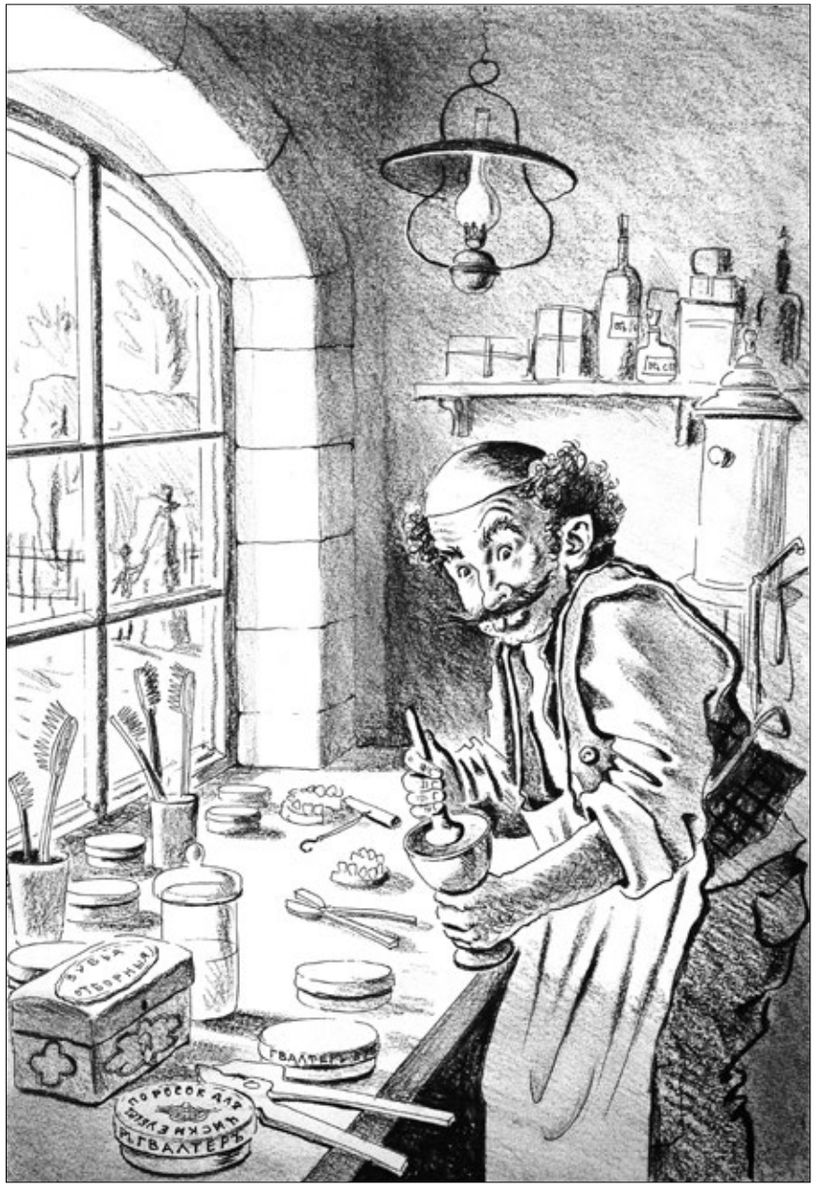
В тазу лежат четыре зуба,
А я, как безумный, рыдал,
А женщина-врач хохотала -
Я голос Маруськи узнал.

Тебя я безумно любила,
А ты изменил мне, палач.
Теперь я тебе отомстила,
Изменник и подлый трепач!

Тебе отомстила за это,
Клади свои зубы в карман,
Носи их в кармане жилета
И помни Маруськи обман!

Чилиндром на шонче шверкая,
Шагал я шовшем беж жубов,
И как отомщтить я не знаю
Жа эту, жа Марущкину любовь.

Профессионалы



А. П. Чехов

Комические рекламы и объявления (Сообщил Антоша Чехонте)

Заявление зубного врача Гвалтера

До сведения моего досло, цто мои пациенты принимают недавно прибывшего зубного враца Гвалтера за меня; а потому имею цесть известить, цто я зиву в Мошкве и просу моих пациенты не смешивать меня с Гвалтером. Не он Гвалтер, а я — Гвалтер. Вставляю зубья, продаю социненный мною толценый мел для циски зубьев и имею самую больсую вывеску. Вижиты делаю с белым галстухом.

Зубной врач при зверинце Винклера — Гвалтер.

1882 год.

А. П. Чехов

Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич, на то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь нелегкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь!

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать...

(Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался...

А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

1884 год.

А. П. Чехов

Общее образование (Последние выводы зубоврачебной науки)

— Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! — вздыхал маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах и с серыми, словно ощипанными, усами, глядя с подобострастием на своего коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гаванкой в зубах. — Совсем не повезло! Собака его знает, отчего это так! Или оттого, что нынче зубных врачей больше, чем зубов... или у меня таланта настоящего нет, чума его знает! Трудно фортуну понять. Взять, к примеру, хоть вас. Вместе мы в уездном училище курс кончили, вместе у жида Берки Швахера работали, а какая разница! Вы два дома и дачу имеете, в коляске катаетесь, а я, как видите, яко наг, яко благ, яко нет ничего. Ну, отчего это так?

Немец Осип Францыч кончил курс в уездном училище и глуп, как тетерев, но сытость, жир и собственные дома придают ему массу самоуверенности. Говорить авторитетно, философствовать и читать сентенции он считает своим неотъемлемым правом.

— Вся беда в нас самих, — вздохнул он авторитетно в ответ на жалобы коллеги. — Сам ты виноват, Петр Ильич! Ты не сердись, но я говорил и буду говорить: нас, специалистов, губит недостаток общего образования. Мы залезли по уши в свою специальность, а что дальше этого, до того нам и дела нет. Нехорошо, брат! Ах, как нехорошо! Ты думаешь, что как научился зубы дергать, так уж и можешь приносить обществу пользу? Ну, нет, брат, с такими узкими, односторонними взглядами далеко не пойдешь... ни-ни, ни в каком случае. Общее образование надо иметь!

— А что такое общее образование? — робко спросил Петр Ильич.

Немец не нашелся, что ответить, и понес чепуху, но потом, выпивши вина, разошелся и дал своему русскому коллеге уразуметь, что он понимает под «общим образованием». Пояснил он не прямо, а косвенно, говоря о другом.

— Главнее всего для нашего брата — приличная обстановка, — рассказывал он. — Публика только по обстановке и судит. Ежели у тебя грязный подъезд, тесные комнаты да жалкая мебель, то значит, ты беден, а ежели беден, то, стало быть, у тебя никто не лечится. Не так ли? Зачем я к тебе пойду лечиться, если у тебя никто не лечится? Лучше я пойду к тому, у кого большая практика! А заведи ты себе бархатную мебель да понатыкай везде электрических звонков, так тогда ты и опытный, и практика у тебя большая. Обзавестись же шикарной квартирой и приличной мебелью — раз плюнуть. Нынче мебельщики подтянулись, духом пали. В кредит сколько хочешь, хоть на сто тысяч, особливо ежели подпишешься под счетом: «Доктор такой-то». И одеваться нужно прилично. Публика так рассуждает: если ты оборван и в грязи живешь, то с тебя и рубля довольно, а если ты в золотых очках, с жирной цепочкой, да кругом тебя бархат, то уж совестно давать тебе рубль, а надо пять или десять. Не так ли?

— Это верно... — согласился Петр Ильич. — Признаться сказать, я сначала завел себе обстановку. У меня всё было: и бархатные скатерти, и журналы в приемной, и Бетховен висел около зеркала, но... чёрт его знает! Затмение дурацкое нашло. Хожу по своей роскошной квартире, и совестно мне отчего-то! Словно я не в свою квартиру попал или украл всё это... не могу! Не умею сидеть на бархатном кресле, да и шабаш! А тут еще моя жена... простая баба, никак не хочет понять, как соблюдать обстановку. То щами или гусем навоняет на весь дом, то канделябры начнет кирпичом чистить, то полы начнет мыть в приемной при больных... чёрт знает что! Верите ли, как продали всю эту обстановку с аукциона, так я словно ожил.

— Значит, не привык к приличной жизни... Что ж? Надо привыкать! Потом, кроме обстановки, нужна еще вывеска. Чем меньше человек, тем вывеска его должна быть больше. Не так ли? Вывеска должна быть громадная, чтобы даже за городом ее видно было. Когда ты подъезжаешь к Петербургу или к Москве, то, прежде чем увидишь колокольни, тебе станут видны вывески зубных врачей. А там,

брат, врачи не нам с тобой чета. На вывеске должны быть нарисованы золотые и серебряные круги, чтобы публика думала, что у тебя медали есть: уважения больше! Кроме этого, нужна реклама. Продай последние брюки, а напечатай объявление. Печатай каждый день во всех газетах. Ежели кажется тебе, что простых объявлений мало, то валяй с фокусами: вели напечатать объявление вверх ногами, закажи клише «с зубами» и «без зубов», проси публику не смешивать тебя с другими дантистами, публикуй, что ты возвратился из-за границы, что бедных и учащихся лечишь бесплатно... Нужно также повесить объявление на вокзале, в буфетах... Много способов!

— Это верно! — вздохнул Петр Ильич.

— Многие также говорят, что, как ни обращайся с публикой, всё равно... Нет, не всё равно! С публикой надо уметь обращаться... Публика нынче хоть и образованная, но дикая, бессмысленная. Сама она не знает, чего хочет, и приноровиться к ней очень трудно. Будь ты хоть распрепрофессор, но ежели ты не умеешь подладиться под ее характер, то она скорей к коновалу пойдет, чем к тебе... Приходит ко мне, положим, барыня с зубом. Разве ее можно без фокусов принять? Ни-ни! Я сейчас нахмуриваюсь по-ученому и молча показываю на кресло: ученым, мол, людям некогда разговаривать. А кресло у меня тоже с фокусами: на винтах! Вертишь винты, а барыня то поднимается, то опускается. Потом начнешь в больном зубе копаться. В зубе чепуха, вырвать надо и больше ничего, но ты копайся долго, с расстановкой... раз десять зеркало всунь в рот, потому что барыни любят, если их болезнями долго занимаются. Барыня визжит, а ты ей: «Сударыня! мой долг облегчить ваши ужасные страдания, а потому прошу относиться ко мне с доверием», и этак, знаешь, величественно, трагически... А на столе перед барыней челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми головами — всё страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инквизитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше. Рву я быстро, без запинки.

— И я рву недурно, Осип Францыч, но чёрт меня знает! Только что, знаете, сделаю тракцию и начну зуб тянуть, как откуда ни возьмись мысль: а что если я не вырву или сломаю? От мысли рука дрожит. И это постоянно!

— Зуб сломается, не твоя вина.

— Так-то так, а все-таки. Беда, ежели апломба нет! Хуже нет, ежели ты себе не веришь или сомневаешься. Был такой случай. Наложил я щипцы, тащу... тащу и вдруг, знаете, чувствую, что очень долго тащу. Пора бы уж вытащить, а я всё тащу. Окаменел я от ужаса! Надо бы бросить да снова начать, а я тащу, тащу... ошалел! Больной видит по моему лицу — тово, что я швах, сомневаюсь, вскочил да от боли и злости как хватит меня табуретом! А то однажды ошалел тоже и вместо больного здоровый зуб вырвал.

— Пустяки, со всяким случается. Рви здоровые зубы, до больного доберешься. А ты прав, без апломба нельзя. Ученый человек должен держать себя по-ученому. Публика ведь не понимает, что мы с тобой в университете не были. Для нее все доктора. И Боткин доктор*, и я доктор, и ты доктор. А потому и держи себя как доктор. Чтоб поученей казаться и пыль пустить, издай брошюрку «О одержании зубов». Сам не сумеешь сочинить, закажи студенту. Он рублей за десять тебе и предисловие накатает и из французских авторов цитаты повыдергает. Я уж три брошюры выпустил. Еще что? Зубной порошок изобрети. Закажи себе коробочки со штемпелем, насыпь в них, чего знаешь, навяжи пломбу и валяй: «Цена 2 рубля, остерегаться подделок». Выдумай и эликсир. Наболтай чего-нибудь, чтоб пахло да щипало, вот тебе и эликсир. Цен круглых не назначай, а так: эликсир № 1 стоит 77 к., № 2 — 82 к. и т. д. Это потаинственнее. Зубные щетки продавай со своим штемпелем по рублю за штуку. Видал мои щетки?

Петр Ильич нервно почесал затылок и в волнении зашагал около немца...

— Вот поди же ты! — зажестикулировал он. — Вот оно как! Но не умею я, не могу! Не то чтобы я это шарлатанством или жульничеством считал, а не могу, руки коротки! Сто раз пробовал, и ни черта не выходило. Вы вот сыты, одеты, дома имеете, а меня — табуретом! Да, действительно, плохо без общего образования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!

1885 год.

М. А. Булгаков

Отрывок из рассказа «Пропавший глаз»

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, но теперь я вижу, что он пролетел как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, окончивший университет!»

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьинской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть... я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого-о!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня ёкнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть...» — подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою — в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцевокислого калия и велел:

— Полощи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу ренклод.

«Отделал я солдата на славу», — отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.

— Часа три не ешь ничего, — дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

— Покорнейше вас благодарю, — отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.

— Ты, дружок, — жалким голосом сказал я, — ты вот чего... ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть... У тебя рядом еще зуб подозрительный... хорошо?

— Благодарим покорнейше, — ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови... Ах ты, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него — 40°. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинаются пересуды.

«С чего бы это?»

«Дохтур зуб ему вытаскал...»

«Вон оно што!»

Дальше — больше. Следствие. Приезжает суровый человек:

«Вы рвали зуб солдату?..»

«Да... я».

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я — причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол... бывают ли такие случаи... если кто-нибудь рвет зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок... я читал...

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

— Это вы ему лунку выломали... Здорово будете зубы рвать... Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель солдат из головы.

А. Кронин

Отрывок из романа «Цитадель»

Как-то в начале апреля Эндрью обнаружил у себя испорченный зуб и на следующей неделе, урвав свободный час, отправился разыскивать зубного врача Медицинского общества. Он еще ни разу не встречался с Болендом и не знал, в какое время тот принимает. Когда он пришел на площадь, где находилась маленькая приемная Боленда, он нашел дверь запертой, и на ней была приколота бумажка с надписью красными чернилами: «Ушел на операцию. В случае спешной надобности обращаться на квартиру». После минутного раздумья Эндрью решил, раз он уже здесь, зайти к Боленду хотя бы для того, чтобы уговориться относительно лечения зуба. Расспросив о дороге компанию молодых людей, праздно болтавшихся у входа в лавку мороженщика, он отправился к Боленду.

Зубной врач жил в маленькой даче, стоявшей несколько на отлете, в высоко расположенном предместье восточной части города. Подходя к дому по запущенной дорожке, Эндрью услышал громкий стук молотка и, заглянув в открытую настежь дверь ветхого деревянного сарая, приютившегося сбоку у самого дома, увидел рыжего плотного мужчину без пиджака, который с молотком в руке энергично атаковал разобранный кузов автомобиля. Он заметил Эндрью в то самое мгновение, когда тот увидел его.

— Алло! - крикнул он.

— Алло! - откликнулся Эндрью чуточку выжидательно.

— Вам кого?

— Я хотел сговориться с зубным врачом насчет того, когда прийти лечиться. Я доктор Мэнсон.

— Входите, — сказал рыжий, приветственно помахивая молотком. Это и был Боленд.

Эндрью вошел в сарай, загроможденный частями невероятно древнего автомобиля. Посредине стоял кузов, поставленный на деревянные ящики из-под яиц и распиленный на две части. Эндрью поглядел сначала на эту необычайную картину, затем на Боленда.

— Так вот на какую операцию вы ушли из амбулатории?

— Совершенно верно, — подтвердил Кон. — Когда я не расположен принимать больных, я забираюсь к себе в гараж, чтобы повозиться немножко с моим автомобилем.

Он говорил с резким ирландским акцентом, а слова «гараж» (так он называл свой полуразвалившийся сарай) и «автомобиль» (это относилось к уже окончательно развалившемуся кузову) произносил с явной гордостью.

— Вы ни за что не угадаете, чем я сейчас занят, — продолжал он, — разумеется, если вы не такой же механик-любитель, как я. Этот автомобильчик служил мне пять лет, а куплен был тоже уже не новый, после трехлетнего употребления. Вы, пожалуй, не поверите сейчас, когда он в таком растерзанном виде, но уверяю вас, он мчится, как заяц. Только он слишком мал, знаете ли, слишком мал для моей семьи. Так что я хочу его сделать побольше. Видите, я его распилил как раз посредине и вставлю кусок шириной в добрых два фута. Погодите, пока все будет готово, тогда увидите, Мэнсон. - Кон потянулся за своей курткой. — Он будет у меня такой длины, что в нем поместится целый полк. Ну, пойдемте в амбулаторию, я запломбирую ваш зуб.

В своем кабинете, где царил почти такой же беспорядок, как в «гараже», и, надо прямо сказать, почти такая же грязь, Кон запломбировал Эндрью зуб, не переставая все время болтать, Кон говорил так много и с такой живостью, что на его косматых рыжих усах всегда пузырилась слюна. Копна его каштановых волос, сильно нуждавшихся в стрижке, непрестанно лезла Эндрью в глаза, когда Кон наклонялся над ним, пломбируя ему зуб серебряной амальгамой, которую держал под ногтем жирного пальца. Он даже не потрудился вымыть руки - такими пустяками Кон не занимался. Это был беспечный, добродушный малый, стремительная и широкая натура. Чем больше Эндрью впоследствии узнавал Кона, тем больше его пленяли в нем юмор, простодушие, необузданность и непрактичность. Прожив шесть лет в Эберло, Кон не отложил ни единого пенни. Зато он извлекал из жизни массу удовольствия. Он был помешан на механике, постоянно возился с какими-то частями машин и боготворил свой автомобиль. То, что Кон являлся обладателем автомобиля, уже само по себе было курьезом. Но Кон любил шутки, даже если они были направлены против него самого. Он рассказывал Эндрью об одном случае, когда его позвали к видному члену комитета рвать зуб; он отправился туда в полной уверенности, что положил в карман щипцы, и вдруг оказалось, что он сунул в рот больного не щипцы, а шестидюймовый гаечный ключ.

Окончив пломбировать, Кон бросил инструменты в банку от варенья, наполненную лизолом (таково было его легкомысленное представление об асептике), и потребовал чтобы Эндрью пошел к нему пить чай.

Кир Булычев

Из жизни дантистов

Не знаю, кого на нашем курсе ненавидели больше — профессора Самойло или старичка Кикина. Тем более что эти совершенно разные люди сливались в нашем сознании в единого мучителя. Другие их тоже осуждали. Я сам слышал в коридоре, возле кафедры, как незнакомый мне преподаватель говорил Самойле: «Вы путаете студентов с морскими свинками». «Нет, не путаю, — отбрыкивался грузный Самойло, — но хочу, чтобы они не считали свинками пациентов». Басеев клялся Милочке, что в министерстве Самойле категорически отказали и что он все сделал в обход постановлений. Я не удивился. Самойло может игнорировать даже приказ министра. Он никого не боится — гений стоматологии.

Разумеется, Кикин не единственный наш индуктор. К примеру, мне куда больше неприятностей доставила девочка с воспалением надкостницы. Но в ней не было мазохизма. В Кикине мазохизм — основная черта характера.

В понедельник мы на Кикине должны были отрабатывать местную анестезию. Когда я проснулся и вспомнил об этом, у меня участился пульс и подскочила температура. К сожалению, недостаточно, чтобы остаться дома. К тому же я, конечно, понимаю, что Самойло, при всей его первобытной жестокости, желает добра больным. Но все равно невыносимо.

Я пришел в аудиторию минут за десять до Кикина. Лаборантка уже раскладывала по столам приемники. Тощий Гордеев бродил по проходу и спрашивал всех:

— Если у меня несварение желудка, всю ночь не спал, при наложении может возникнуть летальный эффект? Как думаешь, Самойло примет во внимание?

Ему не отвечали. Все знали, что не примет. Свой понос Гордеев придумал по дороге в институт.

Я сел за свой стол и взял приемник. Совершенно безвредная на вид машинка. Похожа на наушники, только вместо мембран присоски к вискам и провод к коробочке самого приемника. Я примерил прибор. Он не был включен, но меня буквально пронизала дрожь — от предчувствия.

Сейчас вплывет Самойло, приведет очередного страдальца, усадит в кресло, лаборантка опутает этого кролика проводами, и мы начнем страдать. Это ужасно, но мудро. Я объективен. Я признаю, что в этом есть мудрость.

Краем глаза я увидел, что прибежала Милочка — отрада моих глаз, мечта моего сердца. И, разумеется, бросилась сразу к Басееву. Пошептались. Милочка клялась мне позавчера, что к Басееву у нее чисто товарищеское чувство. Это что, чувство локтя? Милочка сидела рядом с Басеевым, вертела в руках его приемник, потом они перешли к ее столу и продолжали свои таинственные переговоры, а я старался не смотреть в их сторону и, разумеется, смотрел.

Приплелся Кикин. Махонький старичок с ватой в ушах, в большом пиджаке, на создание которого ушел пуд ваты. Желтая кожа на ручках и лице кое-где провисает складками, а кое-где натянута, и мне кажется, что туда тоже подложена вата. А клочки ваты над ушами образуют волосяной покров. Кикин со всеми поздоровался и вцепился в меня. Этого я и боялся. Он почему-то выделял меня из группы.

— Я сегодня не спал, — сообщил он мне. — Совершенно замучил радикулит. Доходит до степени люмбаго.

За свое долгое общение с медициной Кикин нахватался разных слов и употребляет их почти правильно.

— Песочку, — сказал я ему. — Накалите на сковородке, в мешок и прикладывайте к спине. Народный способ. Многим помогает.

— Мне народные способы не помогают, — сказал Кикин. — Я по натуре аллопат. Отрицаю. Верхний правый резец меня сведет с ума.

«Нас тоже сведет с ума твой верхний правый резец», — хотел я ему ответить.

— Вы не представляете, — сказал он.

— Давно пора запломбировать, — сказал я.

— А вы как же? Как же вы без меня? — удивился Кикин. — У меня четыре группы. С кем работать будете?

Он искренне считал, что жертвует собой ради Науки. Переубедить его невозможно.

Вошел толстый Самойло, окинул нас взглядом Наполеона перед Аустерлицем, хохотнул, сказал какую-то банальность о погоде. Я уже к нему не прислушивался. Я жил в ожидании кикинских страданий.

А сам Кикин — хоть бы что. Уже подбежал к креслу, придерживаясь лапкой за поясницу. Семьдесят два года. Приличная пенсия. Ну что еще ему надо? Зачем культивировать в себе болести и нести их людям, самой несчастной категории людей — студентам-стоматологам?

— Сегодня, — сказал Самойло, — занятие легкое и безболезненное. Местная анестезия. Считайте, что вам повезло.

— А общую анестезию нельзя? — спросил Гордеев.

— Шутка, — понял Самойло. И громко засмеялся. Но притом уже дал знак лаборантке, чтобы привинчивала ватного Кикина к креслу.

Вбежал Мировольский, анестезиолог. Вообще-то обошлось бы и без него, но Самойле надо, чтобы все проходило на высшем уровне.

— На-деваем! — скомандовал Самойло, как на параде.

Я поглядел на Милочку. Она была прелестна и похожа на радистку партизанского отряда. В глазах ее отражался великий ужас, потому что в любую минуту могли ворваться эсэсовцы, застукавшие передатчик. Басеев ленивым движением поправил присоски на висках и откинулся на стуле, словно собирался посмотреть по телевизору передачу об испанской живописи в Эрмитаже.

Крепкая короткопалая рука Самойлы повисла над кнопками пульта. Включение наших приемников он производил сам после того, как заметил, что некоторые слабовольные студенты забывают включать их добровольно.

Сейчас начнется. Что-то Кикин морщится. Наверняка правый верхний мучает. Самойло смотрит на Кикина с сыновней любовью — Кикин лукаво подмигивает ему в ответ. Рука Самойлы врубает кнопки. Я подскакиваю на стуле. Вся группа подскакивает на стульях. Господи, за что такое мучение!

— Вот! — кричит Самойло. — Теперь вы понимаете, от чего мы должны спасать человечество!

Это очень простые, можно сказать, элементарные приемники, плод неразумного творчества какой-то лаборатории в Киеве. Они улавливают болевые ощущения индуктора и точно передают их перцепиенту. Род биоволн. Ничего эти приемники не могут уловить: ни мыслей, ни чувств — только ощущение боли. И когда очкастый доктор наук привез их в Москву в расчете на мировую известность и стал внедрять в больницах, медики, будучи по натуре самыми консервативными и недоверчивыми людьми на свете, от использования прибора при диагностике временно воздержались. До отработки и утверждения. А вот Самойло, как узнал, буквально вцепился в приемник. Ему было легче, чем другим, у него были морские свинки — студенты, беззащитные и покорные. С тех пор мы уже полгода учим симптомы различных болезней полости рта на собственной шкуре. А Самойло вкупе с мазохистом Кикиным, скопищем страданий в ватном нимбе, рассчитывает, что в светлом будущем врачи даже и разговаривать с пациентом не будут, не подключившись предварительно к его болевым центрам.

— Нет больших путаников, чем больные, — уверяет Самойло. — Больному кажется, что его схватил гастрит, а у него на самом деле ничего подобного. Мы вступаем в новую эру медицины. И вы ее предтечи, вы ее пионеры... Не забудем и об этическом аспекте. Настоящий врач не имеет права абстрагироваться от страданий пациента. Он должен разделять их. Понятно?

— Ой, как понятно!

Как же Кикин терпит эти мучения?

— Стоп, стоп, стоп! — кричит Самойло. — Почему боль в пояснице?

— Меня радикулит схватил, — радостно сообщает Кикин. — А что, ощущаете?

Самойло держится за собственную поясницу, он ведь всегда работает с нами вместе. Надо отдать ему должное — терпит, как все.

— Надо было предупредить, — говорит Самойло. — Это искажает картину.

Еще как искажает. Зуб мой ноет, спина болит, а анестезиолог Мировольский, естественно, не спешит. Ему спешить некуда, он не подключен.

Самойло тратит еще пять минут на описание симптомов и рассказ о том, как они будут, по его мнению, изменяться после укола. Я постепенно привыкаю к боли и гляжу на Милочку. Но раньше вижу Гордеева. Человека большого, лобастого, но удивительно ограниченного. Я вижу, как Гордеев достает пачку аспирина и кидает две таблетки в рот. Дурак, сколько я ему говорил: нельзя лечить себя, если ощущаешь чужую боль. Но он твердит, что это ему помогает. А Милочка что-то пишет. Это почти невероятно. С ее страхом перед болью — она даже хотела уйти из института, когда Самойло разыгрался, — она пишет! Неужели тоже аспирину наелась? Басеев наклоняется к ней через проход и что-то шепчет. Милочка складывает записку и передает Басееву. Может быть, я чувствительнее других к боли? Я сейчас и слова бы не написал. Мне хочется вскочить и бегать по комнате, схватив себя за щеку.

Самойло наконец делает знак Мировольскому, тот заставляет Кикина открыть рот, и я непроизвольно хватаюсь за десну — почувствовал укол.

— Ну осторожнее, голубчик, — говорит Самойло Мировольскому. — Очень болезненно.

Марта в соседнем ряду всхлипывает. Она молчаливая, терпеливая эстонка, но сколько можно терпеть?

Боль постепенно отпускает. Но не так, как хотелось бы. Тем более разыгрывается радикулит.

— А радикулит убрать нельзя? — спрашивает Гордеев. — Он же к делу не относится.

Как будто угадал мои мысли.

— Глупо, — отвечает Самойло. — Разве в реальной практике вам не встретится больной, отягощенный радикулитом? Или желудочными коликами? Надо быть ко всему готовым.

— Я отягощен, — говорит Гордеев. — Собственными коликами.

— Вы хотите покинуть аудиторию? — вежливо спрашивает Самойло.

— Потерплю, — отвечает Гордеев. — Скоро зачет.

Потом Самойло сам чистит Кикину канал, пломбирует зуб. Я ассистирую. Анестезия на Кикина действует плохо. Она всегда на него действует плохо. Я с ужасом смотрю на зубы Кикина — они почти все свои и почти все нуждаются в лечении. Но Кикин тянет. Кикин хочет быть необходим науке. Бедные первокурсники. Они еще не подозревают, что их ждет. Кикина хватит лет на пять.

Когда очередная страда мучений кончилась, Самойло, осыпав нас на прощание вопросами, покидает аудиторию (Кикин убежал первым в буфет, хотя ему это не положено. Я подозреваю, что он нарочно будет сейчас грызть кости, чтобы пломба вылетела).

Ко мне подходит услада моих очей Милочка и спрашивает:

— Больно было?

— А ты не знаешь? — спрашиваю я настороженно. Ее близость к Басееву вызывает во мне холодность.

— Нет, не заметила, — говорит она с легкой джокондовской улыбкой.

— Как так? — спрашиваю я.

— Людмила! — кричит из другого угла аудитории Басеев. — Не забывайся.

Людмила хохочет и уходит в коридор.

В курилке я становлюсь свидетелем, а потом и участником необычного разговора. Басеев глядит прозрачными наглыми глазами на Гордеева. И спрашивает:

— Что бы ты отдал за то, чтобы забыть о Кикине?

— Все, — говорит Гордеев. — Буквально. Полцарства и коня.

— Полцарства не нужно, — говорит Басеев. Он знает, что я слышу разговор, но это его не тревожит. — Десятку со стипендии — и гарантирую освобождение от грехов.

— Десятку за что? — не понимает Гордеев.

— Ты надеваешь приемник, а боли не чувствуешь.

— Это невозможно, — говорит Гордеев. — Пробовали уже.

— Пробовали на любительском уровне. А я взял под уздцы своего братца, он технарь, по жидким кристаллам работает, с ним вместе мы отыскали этого киевского инженера. Я брата представил как еще одного потенциального испытателя. Инженер уши развесил, все ему показал, даже разобрал машинку, а дальше проще простого. Брат подумал и подсказал наивному медику, как это делается.

— Что делается? — спросил Гордеев.

— Болевые ощущения отключаются, вместо этого ощущаешь приятную теплоту во всем теле. Я в прошлый раз сам попробовал, а сегодня Людмиле дал. Спроси у нее, если не веришь.

— А зачем десятка? — Этот Гордеев сохранил детскую непосредственность до двадцатилетнего возраста.

— На такси мы тратились? Тратились. — Басеев был совершенно серьезен. — Коньяк я брату покупал? Покупал.

— Но всего три занятия осталось, — вякнул Гордеев.

— Не хочешь — гуляй. Страдай.

— Может, пять рублей, а?

Тогда я ушел. Даже не могу объяснить, почему ушел. Неприятно стало. Сколько раз я сам мечтал, чтобы придумать что-нибудь, сломать эту проклятую машинку, не слышать боли проклятого Кикина, не страдать за других... Если врач будет подключаться к чужой боли, он сам скоро помрет. Это несправедливо...

Милочка ждала меня у входа, сидела на скамейке у почты напротив института, жевала яблоко.

— Что я тебе расскажу! — сказала она.

— Не надо. Знаю. Басеев Гордееву уже продавал обезболивание.

— Продавал?

— А тебе он почему дал? За прекрасные глаза? Авансом?

— Не хами, я этого не люблю. Дал, потому что мой поклонник. Я и тебе могу устроить.

— Со скидкой?

— Не хочешь — не надо. Страдай дурью. Пошли, что ли?

Мы пошли.

Я все никак не мог сформулировать. Ну, Басеев. Бог с ним! Он человек практичный, холодный, он никогда чужую боль слушать не станет. Но Милочка... Мы же с ней говорили, что это открытие гуманно...

Милочка умеет угадывать мои мысли.

— Тысячу лет врачи лечат, не болея сами, — сказала она. — И мы обойдемся.

— Но если есть возможность! — закричал я на всю улицу. — Если мы этим будем спасать людей!

— Зачем же за свой счет?

— Слова Басеева?

Милочка долго молчала. Потом сказала:

— В тебе нет жалости. Ко мне...

Была у меня к ней жалость. И даже больше чем жалость. Я даже согласен был, чтобы она и дальше обманывала профессора Самойло. Но я все равно зол на Басеева. И теперь понимаю почему. Зависть здесь не играет никакой роли. Просто это уже бывало в истории человечества: кто-то думает, старается, ночей не спит, в кино не ходит для того, чтобы людям было лучше. Потом приходит кто-то другой. Он деловой. Он трезвый. Он тоже хочет добра. Но только себе. И обязательно за чужой счет...

Ю. З. Крелин

Зубоскальство

Не везет мне с зубами. А кому везет с зубами? Уж если они начали болеть — все: уже не везет. Но свои-то зубы всегда болят сильнее, чем чужие. А лечение их у меня всегда походило на скачки с препятствиями.

Помню, я уже был доктором. Заболел зуб. Вот пойти бы сразу к врачу или даже более того, пока еще не начал болеть, как полагается культурному человеку. Как вспомнишь эту — ззижзшззмжзшзм... Ну их к черту! Много дел сейчас — в другой раз.

Вот был я так занят на даче — отпуск был. Наконец, разболелось беспредельно. Пришлось ехать в город.

Флюс, по моим тогдашним докторским понятиям, — это абсцесс, то есть гнойник около зуба. А нас, хирургов, учили: «Ubi pus — ibi incisio», то есть: «Где гной — там разрез». Мне было ясно, что разреза не избежать.

— Доктор, выручайте!

Рассказывать нечего, как говорится, вернее, как видится, все на лице.

Рот открыт. В нем несколько инструментов.

— Больно? — Это доктор стучит каким-то инструментом по зубам и спрашивает, больно ли.

— Ыаы, — ясней ответить не могу.

Стук, стук:

— Больно?

— Ыау.

— Больно?

— Ага.

— Что это вы коллега, так неясно отвечаете.

Молоденькая, хорошенькая, в уголках глаз почему-то растут ресницы. Издевается, что ли? Ведь полон же рот инструментов.

— Придется, коллега, зуб этот удалить.

Что делать! Надо так надо. Она ко мне с пиететом относится — коллега.

Укол. Вскоре уже полрта ничего не чувствует. Половина языка выросла до огромных размеров и не умещается во рту. Впечатление, что улыбаешься и говоришь только половиной рта. А человек-то от животного, как известно, отличается в значительной степени разговором и улыбкой.

Коллега — девочка — смела — амазонка! Хвать щипцы. Рраз! И все. Показывает зуб. Молодец!. Но там же гной! Его надо выпустить.

— А что, резать не надо?

«Ах да, — успел я подумать, — зуб вырвала, дыра, оттуда гной дойдет».

В глазах у доктора секундная растерянность: ведь коллега говорит — не так просто.

— Что ж, можно и вскрыть переходную складку.

Не успел я слова сказать, как она взяла со стола скальпель, благо обезболивание уже было, рот открыт, в нем опять были какие-то инструменты, — хвать. Разрез готов. Амазонка!

А я хорош. Напросился. А зачем? Никогда не надо слушать больных. Даже если это и доктор, и старше по возрасту.

Все, конечно, зажило, и все было в порядке, но мне урок. Коль ты больной — сиди и молчи: доктор лучше знает. Когда других лечу, так я это понимаю, а как сам... Вот и получил.

А вот еще помню, как-то заболел у меня очередной зуб. А я совсем недавно перед этим оперировал одного зубного врача из нашей же районной поликлиники. Я к ней.

- Выручайте.

Опять вся процедура с битьем по зубам: «Больно? Больно?» — «Маа. Ага».

— Да, дорогой мой, придется с этим зубом расстаться.

Говорить не могу, лишь развожу руками, пожимаю плечами, мол, что поделаешь, тащите, остаюсь весь ваш, и так далее.

Ведет меня в операционную. Представляет:

— Вот наш хирург. Пожалуйста, ему зуб удалить надо.

— Угу. Посидите здесь в предоперационной. Подождите.

Сажусь. Конечно, я ей не подарок. Кто ж любит в пациентах врача! Всегда с ними, вернее с нами, какая-нибудь ерунда бывает. Сижу жду. Изображаю железного человека. Вынул из кармана книгу, читаю.

И доктору обидно. Ишь, пришел зуб драть и делает вид, что он не боится. А ну его, ату его!

— Молодой человек! В предоперационной читать нельзя. Книга...

— Извините, пожалуйста. — Убрал снова в карман.

— ...знаете какая грязная! А здесь должно быть чисто. На каждой странице миллионы микробов. — Ушла и тут же вернулась. — Что же вы думаете, здесь чистота не нужна, только в ваших операционных? А на книге вашей миллионы микробов. — Ушла и вскоре опять вышла. — Вы журнал «Здоровье» читаете?

Она же знает, что я врач. Зачем же читать этот журнал? Но она сейчас будет зуб мне драть, лучше молчать, решаю я, но... склочность, видно, сильнее меня:

— Нет. Не читаю. Мне своих журналов хватает.

Идиот! Что я наделал?

— И напрасно. А надо читать. Вы бы узнали, сколько микробов на каждой странице. А вы в операционной, ну пусть даже в предоперационной, книгу.. — Ушла и снова пришла. — В операционной чистоту знаете как надо соблюдать!

Нет. Нет. Я молчу. Вот зануда! И опять срабатывает механизм:

— На ботинках-то у меня еще больше микробов.

Склочник! Болван!

— Ыыы.. — не нашла слов. — Проходите.

У кресла стоит милая-милая девочка. Ясно — студентка. Сейчас она меня начнет показывать. И вот такой девочке я должен показывать свой дурацкий рот с больными зубами, ай-я-яй. Опять же, что делать? Уж лучше бы эта девочка и тащила, а то я разозлил бабку. Но нет, существует врачебная этика. Когда больной — врач, всегда старший им занимается. Эдакий реверанс в сторону коллеги. К тому же, я говорил уже, у врачей всегда все не так, как правило, не так.

— Анестезируйте, - буркнула доктор студентке.

Смотри-ка, сама не обезболивает. Ну и черт с ней. Но я бы так не делал. Побоялся бы. (Как потом оказалось, девочка обезболила очень хорошо). Тащить, наверное, сама будет, старая карга.

Ничего подобного. Она последовательна. Девочка взяла щипцы, уцепилась за зуб и давай его раскачивать.

Вдруг... кракх! — зуб сломался. Корни остались! По отдельности тащить каждый придется! Меня захлестнула волна злобной радости. «Ага! — думал я. — Теперь-то ты попрыгаешь, старая жаба! Теперь-то тебе неудобно. Дала студентке доктора лечить. Ан, она и сломала! Теперь-то ты попляшешь передо мной». И елейным голоском Иудушки Головлева:

— Да вы не волнуйтесь, у меня очень тяжелые зубы. — Это действительно так. Девочка не виновата. — И корни у меня перекрученные. — Я больше к студентке обращаюсь. А доктору-то представляю как неудобно! Но я не унимался. Обезболено хорошо. Я не чувствовал никакой боли. Наверно, вам долбить придется. Их теперь иначе не вытащить.

Доктор нырнула ко мне в рот.

— Придется вам родной мой, потерпеть немножко. Действительно, долбить придется.

— Ну что ж. Ничего, ничего. Долбите.

«Ага, зубная кочерыжка, будешь знать, как докторов студенткам подсовывать».

Под подбородком мне подставили чей-то здоровый кулак, чтоб упор был и чтоб голова не болталась при долбежке. И впрямь хорошо обезболено. Никакой боли не чувствую. Конечно, ощущения не сахар...

Через сорок пять минут последний, третий корень был извлечен.

— Спасибо большое. Совершенно небольно было.

Студентка очень сконфужена. Эх, надо бы за ней поухаживать — успех почти гарантирован: ей же передо мной неудобно. А она хорошенькая! Меня они молотком да долотом, а я не отыгрался.

Это все минусовые воспоминания, связанные с удалением. А были и плюсовые ситуации.

Мне вставили зуб в корень, на штифте. Но он быстро раскачался и стал выпадать. Я его придерживал нижними зубами. Но вот, когда я чихал, он выпадал, и я должен был успеть подносить руку ко рту, а то будет на полу.

Я был в гостях со своим товарищем у нашей приятельницы. Беседа вполне светская. И вдруг... апчхи! — и, конечно, забыл про зуб.

— Ну, ребята, выручайте! Зуб под столом.

— Что, что? — он-то знал, а она, естественно, не поняла.

Иду ва-банк:

— Зуб у меня выпадает. Под стол свалился.

Мы все полезли под стол. Она нашла. Только вставил, и тут же... апчхи!

Вот наваждение.

Снова лезем. Хохотал я, конечно, первый — другого выхода у меня не было.

И обошлось. Все было в порядке.

Каждый раз все обходилось. И заживало все всегда хорошо.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

Приветствие О.О. Янушевича
Ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова 5
Гуманитарные науки в истории медицины
и стоматологии 7

ДЕТСКИЕ СТРАХИ 11

Ганс Христиан Андерсен. Тетушка Зубная боль 13
Марк Твен. Отрывок из романа
«Приключения Тома Сойера» 25
П.Н. Яковлев. Шурка — Зубная щетка 29
С.А. Могилевская. Про Машеньку
и зубную щетку 45
И.М. Меттер. Челюсть 53
Уильям Джойс. (перевод Д.Ю. Кузнецова)
«Тусиана. Отрывок из сказки История зубной феи» 63
Г.Б. Остер. Вредные советы. 65
Сью Таунсенд. Страдания Адриана Моула 67

БОЛЬ 71

Бернс Роберт Ода к зубной боли.
(Перевод С. Я. Маршака) 73
Г. Попов. Русская народно-бытовая медицина.
Суеверные средства против зубной боли 75
А.П. Чехов. Нытье. (Письмо издалека) 77
А.П. Чехов. Лошадиная фамилия 81
А.П. Чехов. Ах, зубы! 87
В.С. Шефнер. Записки зубовладельца 91
Гюнтер Грасс. Отрывок из романа
«Под местным наркозом» 111

ЦИНГА 119

Джеймс Линд. Трактат о цинге 121
Джек Лондон. Отрывок из романа «Смок Беллью» 123
Жюль Верн. Отрывок из романа «Мореплаватели XVIII века» 141
Жюль Верн. Отрывок из романа «Путешественники XIX века» ... 145
В.Т. Шаламов. Отрывок из повести «Колымские рассказы» 147

БЕЗ ЗУБОВ 149

Джованни Боккаччо. Отрывок из сборника новелл
«Декамерон» 151
В. Гюго. Отрывок из романа
«Отверженные» 153
А.П. Чехов. Знакомый мужчина 157
Г. Белль. Отрывок из романа «Дом без хозяина» 163
В.Я. Шишков. Зубодерка 169
М.М. Зощенко. Зубное дело 173
М.М. Зощенко. Социальная грусть 177
М.М. Зощенко. Авантюрный рассказ 179
С.Я. Маршак. Зубная быль 181
Неизвестный автор. Цилиндром на солнце сверкая 183

ПРОФЕССИОНАЛЫ 185

А.П. Чехов. Комические рекламы и объявления.
Заявление зубного врача Гвалтера 187
А.П. Чехов. Хирургия 189
А.П. Чехов. Общее образование.
(Последние выводы зубоврачебной науки) 193
М.А. Булгаков. Отрывок из рассказа «Пропавший глаз» 199
А. Кронин. Отрывок из романа «Цитадель» 203
Кир Булычев. из жизни дантистов 207
Ю.З. Крелин. Зубоскальство 215

Зубы

Сборник литературных произведений русских и зарубежных авторов на тему стоматологии

Идея:
Янушевич Олег Олегович

Составители:
Янушевич Олег Олегович
Пашков Константин Анатольевич
Бергер Елена Евгеньевна
Туторская Мария Сергеевна
Художник-иллюстратор: Ведина Елизавета Александровна
Верстка: Григорий Кубарев
Корректор: Негру-Водэ Юлия Аарновна

©МГМСУ

Подписано в печать 06.11.2015 г. Формат 162 × 230
Печать офсетная. Бумага мелованная. Тираж 1000 экз.
Заказ н2530-3

ISBN 978-5-9903991-4-3